



*Стихотворение Ф.И. Тютчева “Безумие”:
попытка расширенного анализа*

*П.Н. ТОЛСТОГУЗОВ,
кандидат филологических наук*

Стихотворение Ф.И. Тютчева “Безумие”, датированное предположительно 1830 годом (опубликовано в 1834), является, по мнению В.В. Кожинова, “загадочным” и пока не нашедшим “убедительного толкования” (см.: Тютчев Ф.И. Стихотворения. М., 1976. С. 302). К.В. Пигарев предполагал, что в этом стихотворении речь идёт об искателях воды, Н.Я. Берковский писал, что у Тютчева содержится выпад в адрес натурфилософии Шеллинга. «Водоискатели и рудознаты – люди особого значения в глазах Шеллинга и его приверженцев. Водоискатели – посвящённые, доверенные лица самой природы. Тютчев мог слышать в Мюнхене о прославленном водоискателе Кампетти, в 1807 году призванном в этот город. Кампетти был любимцем мюнхенских шелленгистов – Риттера, Баадера и, наконец, самого Шеллинга. О водоискателях Шеллинг писал в своих “Разысканиях о человеческой свободе” (1809), хорошо известных Тютче-

ву. Таким образом, последняя строфа “Безумия” – по сюжету своему “строфа Кампетти” – точно указывает, с каким миропониманием ведёт свой спор Тютчев» (Берковский Н.Я. О русской литературе. Л., 1985. С. 175). К.В. Пигарев указал на связь “Безумия” с позднейшим посланием А.А. Фету (“Иным достался от природы...”, 1862). Это наблюдение позволило В.В. Кожинуву сделать вывод о том, что первая строфа послания, непосредственно соотносящаяся с “Безумием”, содержит тютчевскую автохарактеристику и что “Безумие” – “резкое самокритическое стихотворение, в котором поэт выразил мучительные сомнения в своем провидческом даре” (Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 302). Б.Я. Бухштаб отнёс “Безумие” к тем тютчевским текстам, которые содержат “образы с налётом романтического мистицизма” и в то же время “окрашены скепсисом” (Бухштаб Б.Я. Русские поэты. Л., 1970. С. 35).

Не оспаривая ни одно из приведённых соображений на это и в самом деле загадочное стихотворение, попробуем уточнить границы его истолкования, имея в виду, что для русской поэзии первой трети XIX века “узнавание тематических комплексов является вторичным моментом по отношению к узнаванию словаря” (Гинзбург Л.Я. О старом и новом. Л., 1982. С. 203). Поэты тютчевской эпохи использовали в пределах освоенной ими художественной сферы устойчивые формулы, “слова-сигналы”, по выражению В.А. Гофмана. Наблюдения над использованием таких формул, эпигонским или экспериментальным, позволяют существенно расширить область комментирования. При работе с тютчевскими текстами это особенно важно: ещё Ю.Н. Тынянов обратил внимание на такую особенность поэзии Тютчева, как *литературность*: “стихи Тютчева связаны с рядом литературных ассоциаций, и в большой мере его поэзия – поэзия о поэзии” (Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 190).

Там, где с землёю обгорелой
Слился, как дым, небесный свод...

(стихотворение “Безумие” цит. по: Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1987).

Разграничение “земли” и “неба”, столь характерное для романтического мировосприятия и романтической поэзии, здесь заменено апокалиптическим образом “слившихся” первоначал. Нечто похожее можно обнаружить в шевырёвском переводе стихотворения Шиллера “Die Grösse der Welt” (“Беспредельность”, 1825), где “умолкание стихийной брани” первоначал есть знак “пределов вселенной”, или в “Искании Бога” Ф.Н. Глинки (около 1826–1830): “Я ви-

дел: смерклись небеса... И грозно небеса дымились... Всё стало пылом, всё огнём". Характерны образный космизм, апокалиптичность дымного и мглистого ландшафта у Тютчева и пространства в тексте Глинки и в переводе С.П. Шевырёва шиллеровской "Беспредельности": "И небо за мною / Оделося мглою...". Здесь "Богом творенью поставлена грань". Однако Тютчев предельно лаконичен: он опускает космологические и теологические детали и объяснения равно как визионерскую ("Я видел") интродукцию.

**Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живёт.**

Тема безумия – одна из принципиальных для литературы первой трети XIX века. Она содержит смысловой контрапункт: безумие как высокое поэтическое состояние духа, форма проявления поэтической, мистической интуиции (здесь "с безумием граничит разумье" – Е.А. Баратынский. "Последняя смерть", 1827) и безумие – тяжкое повреждение духа, его онемение, когда человек превращается в "хладного истукана", в котором "небесный огонь ума приметно догорает" (В.Н. Шастный. "Безумный", 1827). Ср. вопрос, выражающий внутреннюю противоречивость этой темы в повести Н.А. Полевого "Блаженство безумия" (1833): "Неужели... только безумие есть истинное проявление мудрости и откровение тайн бытия?"

"Беззаботность" и "веселье" в поэтической традиции начала XIX века – синонимы анакреонтической "беспечности", являющейся отличительным признаком поэта и поэтико-философского времяпрепровождения ("беспечный Поэт" в послании "К друзьям" К.Н. Батюшкова, 1815; у А.С. Пушкина: "Блажен, кто веселится / В покое, без забот..." – "Городок", 1815).

У Тютчева "веселая беззаботность" почти оксюморонным образом сопряжена с "жалким Безумием", и такой поворот темы напоминает о распространенном лирическом сюжете: поэт отказывается от "беспечности", чтобы говорить "языком Истины свободной", но разочаровывается, поскольку "для толпы ничтожной и глухой / Смешон глас сердца благородный" (А.С. Пушкин. "В.Ф. Раевскому", 1822; та же тема в "Разговоре книгопродавца с поэтом", 1824: ранее "беспечный" и общительный поэт удаляется в "глушь", а его исповедь должна казаться для непосвящённых "безумца диким лепетаньем"). О внимании Тютчева к теме высокого поэтического безумия свидетельствует переведённый им в конце 1820-х годов отрывок из "Сна в летнюю ночь" Шекспира: "Любовники, безумцы и поэты / Из одного воображенья слиты".

В "Безумии" тема приобретает новое звучание: беззаботное веселье, провидческий дар и жалкое положение безумца обра-

зуют внутренне противоречивую и вместе с тем *единую* характеристику.

Под раскалёнными лучами,
Зарывшись в пламенных песках...

Образ пустынного ландшафта в поэзии тютчевской эпохи столь же многозначен. Пустыня – это место поэтического и философского уединения, прибежище отшельников и пророков. В “Фаусте” мы встречаем ряд значений, связанных с пустынным ландшафтом: отшельничество, пустота, философское “ничто” (*Ode und Einsamkeit, Wildernis, Leere, Nichts*; см. первый акт второй части, сцена “Тёмная галерея”). Такая метафизическая обстановка характеризуется отсутствием пространства и времени в их земном смысле (“kein Ort, noch weniger eine Zeit”, по словам Мефистофеля). Наконец, пустыня – это место последнего суда, место, где совершаются космические судьбы человека (обстановка “Анчара” и “Пророка” у Пушкина, у него же “аравийский ураган” в “Пире во время чумы” как образ одной из гибельных, но вместе с тем отвечающих глубинному запросу человеческой природы стихий; ср. также у Ф.Н. Глинки в стихотворении “Вдруг что-то чёрное мелькнуло...” (между 1826–1834), где ареной апокалиптического действия становятся “пустынь концы”). Кроме того, пустыня – метафора жизни как юдоли, мучительно бесцветного существования в застылых жизненных формах (ср., например, у Брентано в “Ich bin durch die Wüste gezogen”, 1816, или у Е.А. Баратынского – “пустыня бытия” в “О счастье с младенчества тоскуя...”, 1823).

Некоторый оттенок ориентальности, который часто сопровождает этот мотив в поэзии 20–30-х годов, вряд ли сохраняется здесь у Тютчева и не может иметь самостоятельного значения в “Безумии”. Как “почва, зноем раскалённая”, в пушкинском “Анчаре”, как метафизическая пустыня в “Фаусте”, так и “пламенные пески” в “Безумии” получают предельно обобщённый колорит места, где разыгрывается пятый акт человеческой истории, “день гнева”. (В тютчевской “Урагии” – не позднее 1820 – пустыня предстаёт символом бренности исторических “Вавилонов”: “Где Вавилоны здесь, где Фивы? – где мой град?... Их нет! – Лучи его теряются в степях, / Где скорбно встретит их ловец или оратай, / Бесплодно роющий во пламенных песках”).

Если же вернуться к размышлению о семантической двупланности тютчевского текста, то оно и здесь обнаруживает необходимые аргументы: “обгорелая земля” с её “пламенными песками” оказывается как местом суда, так и приютом, убежищем для “жалкого Безумия” (трудно представить, чтобы “на почве, зноем раскалённой”, в пушкинском “Анчаре”, кто-то мог жить: суть именно в том, что

только ядовитое древо может существовать в этих местах. Как и пушкинский раб, Фауст с величайшим трудом преодолевает враждебные человеку пространства пустыни). Сводятся воедино ранее не сочетавшиеся в традиции смыслы, не сочетавшиеся и у самого Тютчева. Так, в “Послании Горация...” (1819), идиллия “священной рожицы” как места уединений, эмблематический образ “тернистой пустыни” жизни и космический образ грозной стихии – “Уже небесный лев тяжёлою стопою в пределах зноя стал – и пламенной стезёю течёт...” – вполне самостоятельны и *не перекрывают* друг друга.

Отдельное замечание – об эпитетах “раскалённый” и “пламенный”. Они – в первую очередь “пламенный” (и его заместители – “пылкий”, “огненный”) – весьма характерны для раннего Тютчева (по нашим наблюдениям эпитет “пламенный” в самых разных значениях встречается примерно в каждом четвёртом стихотворении поэта 20-х – начале 30-х годов) и для поэтической традиции: “пламенная любовь”, “пламенное сердце”, “пламенная грудь”, “пламя страстей”, “святое пламя вдохновенья” и т.п. Причём более обычным было метафорическое значение этого слова, хотя у самого Тютчева есть примеры использования смысла, близкого к предметному (“пламенная стезя” солнца в “Послании Горация...”, “пламенные пески” в “Урании” (1820), “пламенное небо” в стихотворении “С чужой стороны” – вольный перевод из Гейне, “солнца раскалённый шар” в “Летнем вечере” и т.д.). Разумеется, “пламенные пески” – это почти явная предметность (пески горячие, как пламя), но вряд ли только она. Аллюзивность тютчевских текстов не позволяет нам расслабиться ни на минуту – эпитет и здесь продолжает удерживать некую семантическую “взвесь”, постороннюю предметному смыслу.

Дело в том, что “пламя” в поэзии начала XIX века не используется как образ без того, чтобы не иметь – напрямую или в подтексте – семантической оппозиции, некоего, условно говоря, “хлада”. В “пламени страстей” не только горят, но и сгорают (Е.А. Баратынский: “Как странно ты перегорела!” – “Как много ты в немного дней...”, 1825), жизнь “охлаждает” человека (Он же: “Взгляни на лик холодный сей...”, 1825), герои сопоставляются как выразители “пламени” и “льда” (Онегин и Ленский в “Евгении Онегине”). Эта оппозиция может образовать сюжет, как в стихотворении “С чужой стороны” (вольный перевод Тютчева из Гейне), может выразить натурфилософское и богословское содержание: в “Искании Бога” Ф.Н. Глинки, например, “пыл” и “огонь”, в которых лирический герой “не видит” Бога, контрастно сменяются “тишиной” открытия о потустороннем, “неземном”. В тютчевском “Летнем вечере” эта метафора “горячих ног” природы, прикоснувшихся к подземным ключам (тема, которая затем получит развитие в знаменитых стихотворениях “День и ночь” и “Святая ночь на небосклон взошла...”).

В “Безумии” такой контраст очевиден – “пламенные пески” образуют оппозицию “подземным водам” (в последней строфе), но если “пламя” и “хлад” в традиции метафорически оформляли идею борьбы человеческих или вселенских начал, то здесь они, скорее, дополняют друг друга: “пламенные пески” – естественная (и единственно возможная, о чём говорит начальное “там, где”) сфера существования для “Безумья жалкого” и столь же естественная сфера его поисков. Семантическая оппозиция теряет устойчивость: здесь нечему “сгореть” и нечему “охладиться”. “Ток подземных вод” не может изменить лицо сгоревшей земли, потому что его медиум – Безумие. Огонь здесь лишается своего очистительного и судебного смысла, а вода перестаёт быть подательницей жизни.

Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.

“Стеклянные очи” Безумия напоминают “неподвижный” взгляд, эту обязательную деталь романтического портрета (где “неподвижность” могла означать высшую степень созерцательной сосредоточенности; см. у С.П. Шевырёва: “недвижным оком созерцал” – “Мудрость”, 1828; вообще такая “неподвижность” могла быть мистическим, роковым знаком: “неподвижны” глаза ростовщика в гоголевском “Портрете”, редакция “Арабесок”, 1835), к которой нередко прибегал и Тютчев в этот период (например, в стихотворении “Лебедь” “недвижные очи” орла, которыми он, между прочим, “впивает солнца свет”, то есть направление взгляда остаётся тем же, что и в “Безумии”). Но перед нами не просто образное соответствие, а *снижение* мотива: “стеклянные очи” выражают смысл идиотической прострации, созерцание приобретает характер простого отражения. Оксюморонность здесь рождается из сочетания поиска (“чего-то ищет”) и его заведомой бесплодности (взгляд незрячего). Ещё один план реминисценций, на которые, возможно, рассчитывал поэт, вновь связан с библейской топикой. В Апокалипсисе есть хорошо известный, очень выразительный образ, в котором *стекло* и *огонь* являются основными характеристиками: “И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии...” (Откр. 15, 2). Другой знаменитый пример из Писания еще более красноречив, ибо в нём связаны зрение и стекло: “Теперь мы видим как бы сквозь *тусклое* стекло, гадательно...” (1 Кор. 13, 12). Оба примера имеют прямое отношение к эсхатологической проблематике. В сущности, и в апостольском послании, и в упоминавшихся уже стихотворениях Любомудров речь идёт о *слепоте* человека (“солнце взоры ослепило”, “неясно созерцает взор” у С.П. Шевырёва), слепоте перед явлением сверхразумных начал.

Сам Тютчев в позднем стихотворении “Иным достался от природы...” (1862, послание “А.А. Фету”), которое представляет собой переработку центрального мотива “Безумия”, определяет одну из разновидностей поэтико-мистической интуиции как “инстинкт пророчески-слепой”. Возможно, “стеклянный” взор Безумия – разновидность именно такой слепоты. Кроме того, мотив “стеклянного” зрения перекликается с содержанием программного стихотворения поэта начала 20-х годов – послания А.Н. Муравьеву “Нет веры к вымыслам чудесным...”. Ср.: “Где вы, о древние народы! / Ваш мир был храмом всех богов, / Вы книгу Матери-природы / Читали ясно, без очков!..”. В этом же послании “весёлое сновиденье” поэта-визионера противопоставлено “убогой хижине” учёного “критика”. В “Безумии” жалкое Безумие оказывается в сфере предчувствий и “сновидений” наяву, то есть ранее противостоявшие друг другу характеристики сведены в одну, внутренне противоречивую.

“Облака” в этом случае, разумеется, не могут быть деталью идиллического ландшафта, а их другое устойчивое значение – иллюзия, мираж. Ср. у Е.А. Баратынского в стихотворении 1829 года: “Чудный град порой сольётся / Из летучих облаков, / Но, лишь ветер его коснётся, / Он исчезнет без следов”.

То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

Слух пророка и духовидца, может быть, ещё более важное свойство, нежели его зрение. В “Искании Бога” Ф.Н. Глинки герой троекратно не смог увидеть Бога, но *услышал* Его “в тишине”. Именно после прикосновения серафима к ушам пушкинского пророка тот “внял” высотам и глубинам. “Зачем с безумным ожиданьем к тебе прислушиваюсь я?” – спрашивает герой Баратынского, обращаясь к природной стихии (“Шуми, шуми с крутой вершины...”, 1821). Предполагается существование “безглагольного” языка природы или сверхприродных реальностей, звуки которого недоступны обычному слуху. Тютчев вновь насыщает текст выражениями, которые отсылают к существовавшему поэтическому словарю. Сравним: “Над суетой вознёсся духом / И сердца трепет *жадным слухом*, / Как вещий голос, изловил!” (Д.В. Веневитинов. “Поэт и друг”, 1827). Единственная оговорка: пророк, духовидец и поэт у Тютчева – всё то же Безумие, и его “довольство тайное” означает как посвящённость, так и невменяемость.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!

О “шеллингианском” подтексте этих строк, как уже отмечалось, говорили К.В. Пигарев и Н.Я. Берковский. С наименьшим основанием можно указать на непосредственное соотношение со всё той же поэзией 20-х годов и с “гётевскими” мотивами. Движение вглубь земли как метафора познания тайн природы – мотив, характерный для “поэзии мысли”: “Прокопал до сердца / Глубины *земные*. / Что ж нашёл я в безднах?” (Ф.Н. Глинка. “Дума”, между 1826–1830 годами). Представляется, что этот мотив возникает в русской поэзии не без влияния образов из первой части “Фауста”. См.: «Wo faß ich dich, unendliche Natur? / Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens, / An denen Himmel und Erde hängt, / Dahin die welke Brust sich drängt – / Ihr quellt, ihr trinkt, und schmacht ich so vergebens?» – “С напрасным стоном, / Природа, вновь я в стороне / Перед твоим священным лоном! / О, как мне руки протянуть / К тебе, как пасть к тебе на грудь, / Прильнуть к твоим ключам бездонным!”, перевод Б. Пастернака (“Ночь”). “Грудь” природы у Гёте оказывается источником глубоко лежащих ключей жизни. В дальнейшем этот образ уточняется в трагедии: в сцене “Лес и пещера” Фауст, обращаясь к духу, благодарит его за то, что он позволил ему “заглянуть в глубину груди” природы (“Vergönne mir in ihre tiefe Brust / Wie in den Busen eines Freunds zu schauen”).

Сравним два перевода этого текста, принадлежащих Веневитинову и Тютчеву: “Но я могу в её таинственную грудь, / Как в сердце друга, заглянуть” (Веневитинов, 1826); “допустил / Во глубину груди её проникнуть, / Как в сердце друга!” (Тютчев, конец 20-х – начало 30-х годов). Уже из этого сравнения видно, что Тютчев стремился почти буквально удержать образность подлинника. Для нас это важно, поскольку Тютчев, как известно, во второй половине 20-х – начале 30-х годов переводил обе части “Фауста” (от этих переводов сохранились лишь пять фрагментов, полностью переведённый первый акт второй части был, по свидетельству самого поэта, случайно им уничтожен), и образный ряд великой трагедии наверняка повлиял на его собственный поэтический стиль.

В монологах Фауста в первой части нередко возникает сравнение места, где обитает человек, с “пылью”, “прахом” земным (Staub, Dust; последнее из этих слов в нижненемецких диалектах означает *запылённый воздух* или *чад*, что немаловажно при соотнесении с образностью первой строфы “Безумия”). Ср.: “Was sucht ihr mächtig und gelind, / Ihr Himmelstöne, mich am Staube?” (“Ночь”), в переводе Тютчева: “Чего вы от меня хотите, / Чего в пыли вы ищете моей, / Святые гласы...”. В знаменитом рассуждении Фауста о том, что в нём живут “две души” (“У ворот”), Гёте даёт очень резкий образ такого “двоедушия”: “Die eine hält, in derber Liebeslust, / Sich an die Welt mit klammernden Organen; / Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust / Zu den

Gefilden hoher Ahnen". Нам неизвестен тютчевский перевод этих строк, но вот как их перевёл его современник, "поэт мысли" Веневитинов: "Одна, обнявши прах земной, / Сковалась с ним любовью земною; / Другая прочь от персти холодной / Летит в эфир, к обители родной" (около 1827, перевод опубликован в 1829).

Семантика "праха" и "пыли" весьма часто встречается у Тютчева в 20-е – первой половине 30-х годов: "А я здесь в поте и в пыли, / Я, царь земли, прирос к земле!.." ("С поляны коршун поднялся...", 1835), "исчадь праха" (перевод фрагмента из "Эрнани" Гюго, 1830), "Вчерашний зной, вчерашний прах!.." ("Как птичка, раннею зарей...", начало 30-х), "И не дано ничтожной пыли / Дышать божественным огнём" ("Проблеск", 1825). Интересно, что своеобразной иронической параллелью к словам Фауста о проникновении в глубины природной жизни является в трагедии образ червя, прокладывающего свои ходы в земной пыли, образ, который примеряет к себе герой: "Dem Wurm gleich ich, der den Staub durchwühlt" ("Ночь").

Во второй части (знакомство Тютчева с содержанием первого акта второй части, шестью сценами "Императорского дворца", могло произойти в 1828 году, когда эти сцены были изданы в 12 томе прижизненного собрания сочинений Гёте) Фауст должен отправиться на поиски Матерей – древних богинь, олицетворяющих природные первоначала, и его путь, как уже было отмечено, лежит через пустыню, одно из значений которой философское Ничто ("In deinem Nichts hoff ich das All zu finden" – "в твоём Ничто я надеюсь обрести Всё"), а также в глубины земли ("ins Tiefste schürfen"). Такое решение темы двоемирия и поиска глубоко залегающих тайн природы обобщается Тютчевым в "Безумии" в очень близком образном ключе: Безумие зарывается в пески, апокалиптический эквивалент земных "пыли", "праха" и метафизического Ничто, и живёт в них, подобно червю, смотря при этом в облака и прислушиваясь к подземным источникам. Но если в первой части "Фауста" трагико-героический аспект в конечном счёте преобладает, то в тексте Тютчева он явным образом совмещён с аспектом иронической трагедии основной темы, характерным для второй части трагедии.

Чтобы установить, какой тематический комплекс образуется в "Безумии", недостаточно только "слов-сигналов" или образно-метафорических соответствий, необходимо отыскать хотя бы приблизительно похожие лирические сюжеты в поэзии 20-х годов. Самая общая тема – мистическая интуиция, которая отличает мистика-визионера от остальных и даёт возможность понимать "безглагольную речь" природы. Сюжет, который реализует эту тему, чаще всего представляет собой какую-то форму лирического "откровения", засвидетельствованного личным мистическим опытом: "Я видел: смерклись небеса", "Говорил я с ветром" (Ф.Н. Глинка. "Искание

Бога", "Дума"), "Я слышу: свищет аквилон", "И, мнится, сердцем разумею / Речь безглагольную твою" (Е.А. Баратынский. "Шуми, шуми с крутой вершины..."). "Безумное ожиданье" (Баратынский) героя предстаёт как безусловно высокое состояние, а здравомыслие обычного человека – как слепота ("Но он глух для гласов, / Для явлений слеп; / Не внимает сердцу, / В небо не глядит" – Ф.Н. Глинка. "Дума", около 1826–1830; "...пойми, коль может, / Органа жизнь глухонемой!" – Тютчев. "Не то, что мните вы, природа...", около 1836). Сюжет может принять иной вид: герой делит со всем человеческим родом общую судьбу – принадлежность и к божественному, и к "праху". Этот сюжет реализован, например, самим Тютчевым в стихотворении "Проблеск" (не позднее 1825), где образный ряд (в последних трёх строфах) уже предвещает мотивы "Безумия":

Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струёю
По жилам небо протекло!

Но ах, не нам его судили;
Мы в небе скоро устаём, –
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнём.

Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон, –

И отягченную главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадем не к покою,
Но в утомительные сны.

Уже здесь "волшебный сон" и "утомительные сны" оказываются двумя контрастными (если не взаимоисключающими для сложившейся поэтической системы) определениями одного и того же состояния. Так же взор – "трепетный и смутный", где мистический трепет оказывается в родстве со слепотой. Мы обнаружим несколько тютчевских текстов 20-х – начала 30-х годов, в которых подобные контрастные определения играют ведущую роль ("14 декабря 1825 года", "И гроб опущен уж в могилу...", "Вечер мгlistый и ненастный...", "Mal'aria", "Осенний вечер"). "Безумие" в этом ряду, пожалуй, самый выразительный пример такого приёма. То, что при чисто тематическом подходе можно считать философским "скепсисом" поэта (Б.Я. Бухштаб), при структурно-семантическом выглядит как способ организации текста: поэтические формулы и создаваемый ими образный ряд содержат предельно широкий для данной

традиции диапазон значений. Что в результате рождается нечто вроде “скептического” итога, вполне понятно: диссонансы губительны для однозначно положительных смыслов.

Тютчев, скорее всего, не был скептиком в сфере мысли (интересно, что философская “сумма” тютчевского наследия часто определялась через крайности скептического индивидуализма и высокого, чуткого к таинственной жизни природы идеализма — пример Вл. Соловьёва и Д.Н. Мережковского в их статьях о Тютчеве задал своеобразную парадигму). Тютчевым был предложен образец гениального синтеза поэтических смыслов в той тематической области, которая в его эпоху осознавалась как важнейшая (поэтико-философская тема познания и его границ). В текстах вроде “Безумия” он сочетал контрастные смыслы как *объективно присущие теме* и поэтому не зависящие ни от поэтического произвола, ни от взглядов автора.

Сюжет “Безумия” эмблематически замкнут в “неподвижное” целое: Безумие как образ имеет постоянные характеристики, постоянные же характеристики имеет ландшафт (точнее, отрицательный ландшафт, который выражает отсутствие жизни и земных ориентиров — kein Ort, noch weniger eine Zeit — и который ещё не раз возникает в лирике Тютчева). Здесь нет места лирическому “взлёту” к главному в сюжете: всё построено на внутренней подвижности смысла, который обнаруживает одические (“грандиозные образы” пустынного ландшафта), элегические (сетование на ограниченность человеческих возможностей) и сатирические (жалкое самодовольство человека) оттенки *одномоментно*. Поэтому “Безумие”, несмотря на в высшей степени “фантастический” колорит, воспринимается как абсолютно убедительный образ, за которым просматривается не вполне ясное (при чисто тематическом подходе), но по ощущению столь же абсолютное веское суждение.

Л.Я. Гинзбург в статье “Опыт философской лирики” писала, что особое звучание стихам Д.В. Веневитинова при всей шаблонности его поэтического словаря придавало ощущение стоящей за его текстами *новой единой темы* (темы, связанной с философской медитацией, которая — тема — и определяла “поэзию мысли”). Особенность тютчевских текстов проявляется иначе: тема предстаёт как единство принадлежащих ей противоположных смыслов.

Так анакреонтическое “беззаботное веселье” оказывается в “пустыне” и должно раскрываться как “жалкое безумие”, а само “безумие” должно раскрыть оба *объективно* присущих ему значения, высокое и низкое, мистическое и клиническое (такой “амбивалентный” смысл безумия будет затем развит русской литературой, достаточно указать на “Записки сумасшедшего” Н.В. Гоголя, роман “Идиот” Ф.М. Достоевского, “Красный цветок” В.М. Гаршина). Так фаустовская тема (и её шеллингианская параллель) в рамках лири-

ческой миниатюры должна обнаружить внутреннюю диалектику “праха” и “небесного” начала. Современники Тютчева прекрасно понимали колеблющуюся природу фаустовского начала: “Фауст соединяет в себе все слабости человечества... Это совершенный образец творения непостоянного и переменчивого” (Сомов О.М. “О романтической поэзии”, 1823 // Литературно-критические работы декабристов. М., 1978. С. 257). Но Тютчев сторонится как героического, так и скептического итога по отношению к этой теме, он лишь даёт эмблематически ясный образ Безумия, которое является средоточием такой “слабости”.

Замечание Л.Я. Гинзбург о том, что “Тютчев работал многозначным и изобретаемым словом и вместе с тем исходил из объективных философских тем” (Гинзбург Л.Я. Указ. соч. С. 226), должно быть дополнено: каковы были тютчевские способы достижения такой многозначности и что может значить “изобретаемое слово” применительно к лирике? Многозначность здесь нередко извлекалась из ситуации, когда слово или формула, имеющие устойчивое поэтическое значение (или несколько), помещались в контекст, где по отношению к ним оказывались возможными взаимоисключающие – с точки зрения традиции – истолкования. На наш взгляд, это одна из составляющих тютчевского требования “художественного беспристрастия” (письмо И.С. Гагарину, июль 1836 – Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1988. С. 268), одна из причин, почему современники считали его открывателем “новых путей в поэтических пространствах” (Боткин В.П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 233), а потомки – примером поэта “объективного типа” (Франк С.Л. “О задачах познания Пушкина” // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 441). “Щелочная” среда объективирующего контекста возвращала слову бытийную и поэтическую вескость, избавляя его от опасности оказаться стёртым, от тупика эпигонского употребления.

Ю.Н. Тынянов, давая определение поэтическому стилю Тютчева, писал: “слова (вводящие “философскую” тему. – П.Т.) (...) приобретают необычайную значительность в маленьком пространстве фрагмента. Одна метафора, одно сравнение заполняют всё стихотворение. (Вернее, всё стихотворение является одним сложным образом.)” (Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 43). Тынянов полагал, что среди методов достижения подобной сложности – антитеза, которая формирует как образный ряд, так и строфическое построение (Там же. С. 44–46). В “Безумии” мы не обнаружим *формальных* антитез, потому что они перенесены здесь в сферу внутрисловесной и внутриобразной семантики. Слово и представляемый им образ *изнутри* противоречивы, за-

ключают в себе антитезу как момент внутреннего развёртывания смысла.

Сообщая о смерти жены (Элеоноры Фёдоровны), Тютчев писал В.А. Жуковскому в октябре 1838 года: “Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимая... и вдруг поймём... и в одном слове, как в провале, как в пропасти, всё обрушится” (Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 276). Мгновенное схватывание, постижение в “одном слове”, насыщенном противоречивыми смыслами, неуловимой сложности жизни – это был метод и Тютчева-поэта.

Биробиджан



Синички, лисички и горящее море

А.А. ИЛЮШИН,

доктор филологических наук

“За морем синичка не пышно жила”, – пелось в народной песне. У Сумарокова в “Другом хоре ко превратному свету” начальные строки: “Прилетела на берег синица / Из-за полночного моря...”. Пушкин просил свою няню: “Спой мне песню, как синица / Тихо за морем жила”. Всё это скромные, милые и тихие синички. И они живут за морем, они заморские (закрепляется ассоциативная связь: синичка – море). Запросы их невелики: “немного синичка из моря упьёт”.

Но бывают и другие синицы – дерзкие, с непомерными претензиями. В “Толковом словаре” В.И. Даля (статья “Синий”) приводится и такая поговорка: “Хвалилась синица море спалить”. Комментарий к басням Крылова даёт более развёрнутый её вариант: “Ходила синица море зажигать, море не зажгла, а славы много наделала”. Синица в одноимённой крыловской басне осрамилась: “Наделала... славы, / А моря не зажгла”. Мораль: не хвались заранее, не сделав дел.

“Обратный словарь русского языка” (М., 1974), которым можно пользоваться и как словарём грамматических рифм, убеждает в том, что в пару к “синичке” нелегко подобрать какую-нибудь рифмующуюся с ней живность, так, чтобы название этой живности конкретно указывало на её породу. Проверим ряд слов на *-ичка*: плотвичка (редкое слово, зафиксировано не во всех словарях)... лисичка... И, пожалуй, всё. Самая “убедительная” рифма – это, конечно, *синичка – лисичка*. Их-то и срифмовал Тредиаковский в ранней своей песенке:

Поют птички
Со синички,
Хвостом машут и лисички.

Чудесные и весьма странные стихи. Кажущийся алогизм – птички поют вместе с синичками (как будто синички сами не птички!) – может быть оправдан, если иметь в виду присловье: “Синица не птица, а прапорщик не офицер” (словарь В.И. Даля). То, что лисички машут не хвостами, а “хвостом”, настолько забавно, что придирается к этому грешно. Не менее забавно инверсирован союз “и” – естественный порядок слов был бы такой: “И хвостом машут лисички”. Да, но что такое “со синички”? Правильно было бы “со синичками”, ибо здесь женский род. Стилизуясь под старину, можно сказать “с товарищи” (архаическая форма творительного падежа множественного числа), но ни в коем случае не “с товарки”, а только “с товарищами”.

Рассерженный на Тредиаковского, Ломоносов писал, что у всех случается изжога (“изгага”), когда приходится читать столь нелепые стихи:

Давно изгага всем читать твои синички,
Дорогу некошну, зночючие лисички.

И опять синички срифмованы с “воночючими” (!) лисичками. Неразлучимы. Песенка Тредиаковского была в XVIII веке чрезвычайно популярна, и русскому языковому сознанию стала, по-видимому, привычна эта созвучная соотнесённость синичек и лисичек. Рецидив этой привычки любопытнейшим образом дал о себе знать уже в нынешнем веке.

Если синице не удалось зажечь море, то кто должен сделать следующую попытку и, может быть, добиться успеха? Читатель, наверное, догадался, что без лисицы тут не обойтись. “Дедушку Крылова” дополнит “дедушка Корней”. В стихотворении Чуковского “Путаница” это реализовалось:

А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.

“Море пламенем горит”! Память о крыловской Синице и о том, что рифмующимся синичкам и лисичкам хорошо быть вместе, навесила Чуковскому стихи о лисичках, зажегших море.

Мотив горящего или – гораздо скромнее – кипящего моря имеет свою, не менее интересную, историю. Пока согласимся, что море всё же легче вскипятить, чем зажечь. Это создавал и Крылов. Звери в предвкушении роскошной ухи плотоядно наблюдают за стараниями Синицы:

Лишь изредка один шепнёт:
“Вот закипит, вот тотчас загорится!”
Не тут-то: море не горит.
Кипит ли хоть? – И не кипит.

В знаменитой песне о крейсере “Варяге” (автор – Е.М. Студенская) “судно охвачено морем огня” – и “кипящее море под нами”. Возможно, подразумевается, что море кипит в прямом смысле слова: ведь на корабле пожар. Но и не будь пожара – морская метафорика всё равно вполне допускает поэтические выражения типа “кипели волны”, “закипающая пена”: о холодной бурлящей воде можно сказать, что она “кипит”. А “горит”? Это случай значительно более редкий. О горящем море говорят, когда оно спокойно и в нём отражается пылающая вечерняя заря. Сопоставим два четверостишия. Автор одного – современник Крылова. Автор другого – современник Чуковского.

С безоблачных солнце сходило небес,
И тихое *море горело*;
На хижину сыпался розовый блеск,
И мирты окрестны атели.
(Василий Жуковский. "Теон и Эсхин")

Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как *море горело*.
И золотом каждой прохожей косы
Пленились со знанием дела.
(Александр Блок. "Поэты")

Стихотворный метр обоих текстов абсолютно одинаков, здесь Блок в точности повторил Жуковского (кстати, вышеупомянутый текст песни о "Варяге" с мотивом "кипящего моря" – точно такого же размера). Есть одна разница между ними: в "Теоне и Эсхине" применён белый, безрифменный стих, в "Поэтах" же перекрёстные рифмы строго на своих местах. Но как раз приведённая строфа Жуковского являет собою некоторое исключение. В ней обнаруживаются подобию рифм, "почти рифмы": *небес – блеск, горело – атели*. Кажется, Блок это заметил. И процитировал "море горело" в той же позиции, как это и у Жуковского: концовка второй строки урегулированно-разностопного амфибрахия (Амф аБаБ 4343). Могло ли такое быть случайным совпадением? Едва ли. В том, что Блок внимательно прислушивался к Жуковскому и вчувствовался в него, нет никаких сомнений (см. первую главу книги А.П. Авраменко "А. Блок и русские поэты XIX века". М., 1990). Скорее всего, Блок со своим "...море горело" так же "оглядывался" на Жуковского с его "...море горело", как Чуковский с его лисичками, поджегшими море, – на Крылова, у которого Синица пыталась зажечь море. В результате же получается так, что старые мастера (Тредиаковский, Ломоносов), "дружно" срифмовавшие синичек и лисичек, кое-что предопределили в формировании этого своеобразного образного комплекса: синички – лисички – горящее море.



ФОРМУЛА ЦВЕТКА

Образ мира в поэзии М. Цветаевой

В.Н. КЛЕЩИКОВА

*О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка.*

*М. Цветаева. "Стихи растут, как звезды и
как розы..."*

Об антонимах в стихотворениях Марины Цветаевой и антонимичности её поэзии вообще написан не один десяток статей и диссертаций.

Не люби, богатый, – бедную,
Не люби, учёный, – глупую,
Не люби, румяный, – бледную,
Не люби, хороший, – вредную:
Золотой – полушку медную!

("Полюбил богатый – бедную...")

Редкая лекция по лексикологии, посвящённая явлению антонимии, обходится без этого примера, ставшего хрестоматийным. Язык Цветаевой – сегодня один из самых исследуемых и цитируемых. Примерами из той, которая "в купели морской крещена", заполнены сборники упражнений. Студенты-филологи охотно выводят в скобках под часто не имеющими ничего общего названиями курсовых и дипломных работ магическое – "на материале поэзии М. Цветаевой".

Магия символа и магия стихотворения. Но дело не только в том, что язык мастера слишком многозначен и многолик, чтобы не сделаться неисчерпаемым источником для вездесущей лингвистической иллюстративности. Нас привлекает созданный поэтом образ мира и потому – язык полюбившейся поэзии – как часть этого образа и одновременно средство его воплощения. Язык-сущность и язык-оболочка, которые, говоря цветаевскими словами, "уравнены: как да и нет".

Марина Цветаева – поэт необузданных стихий – природы, истории и души, однако, сквозь бушевание, казалось бы, ничем не сдерживаемых первозданных начал, в потоке поэтического сознания всё яснее и отчётливей проступает, используя выражение известного украинского поэта и литературоведа М. Зерова, “железное течение логики”, но это особая логика – гармонизирующая основа хаоса, логика сотворения мира в совокупности его неразрывных и извечно противоборствующих сторон – логика “тайной любви промежду рукописью – и пожаром”, союза огня и воды, мужчины и женщины, жизни и смерти.

На плече моём на правом
Примостился голубь-утро,
На плече моём на левом
Примостился филин-ночь.

Трудно подобрать более ёмкий и исчерпывающий пример поэтического воплощения дуалистической природы бытия. Но левое, тёмное, отрицательное и т.п. (древнекитайская философская категория инь) – вовсе не значит *плохое*. Дилемму “Солнечный? Лунный?” семнадцатилетняя Цветаева разрешает утверждением равноценности, равнозначности взаимоисключающих начал:

Буду любить, не умея иначе –
Оба луча!

Насколько полярны белое и чёрное? Почему именно их разделило человеческое сознание? Белый и чёрный, Белизну – Черноту, воров – лебедей, а не синий и розовый, не “малиновый и бирюзовый”? По наитию или в силу древнего забытого знания?

Священный цвет индусов – красный, мусульман – зелёный, европейцы вкладывают символическое значение в сочетание цветов своих национальных флагов, но ни западной, ни восточной традиции не удалось избежать противостояния “белый – чёрный”, хотя полюса его эмоциональной оценки в разных культурах могут быть диаметрально противоположны. Женщина Запада надевает белое в день свадьбы, женщина Востока – в день траура. Плоскость, в которой происходит неподвластное обыденному сознанию таинство слияния солнечного и лунного, белого и чёрного, гордости и робости, молодости и старости (“Ты на старость, дедушка, просишь, я – на молодость! / Всех равно – без промаху – бьёт Господен цеп!”, “на тёмном, на косноязычном / Языке людском зовётся – Жизнь”).

Жизнь с большой буквы – в многообразии и единстве всех её проявлений и хитросплетений – как способ и всеобщий закон существования Универсума, в котором даже смерть – одно из звеньев безоглядной и мудрой Жизни, переводящее *нечто существующее здесь в существующее там* – “за предельные пределы станций”, “...За потустороннюю

границу: / к Стиксу!..” – в туманно-мистическом, почти недоступном земному человеческому восприятию измерении. Но, возможно, существование за порогом осязаемости бытия и есть наиболее совершенное существование?

То, что в мире смертью
Названо – паденье в твердь.

Но ўзришь! То, что в мире – век
Смежение – рожденье в свет. (...)
Смерть, маленький, не спать, а встать,
Не спать, а вспять.

(“Сивилла – младенцу”)

Призвание поэта – в разгадывании загадок бытия, постижении величия мира в его космическом буйстве и гармонии, безобразии и красоте, простоте и непонятности, ибо “...путь комет – Поэтов путь. / Развеянные звенья / Причинности – вот связь его!”.

Главная особенность поэтического познания мира – преобладание иррационального начала: сердца – над разумом, интуиции – над анализом, фантазии – над проверенностью факта (“Поэтовы затмения / Не предугаданы календарём”). Отсюда открытость поэтического сознания голосам неведомых и непонятных миров, “безмерность в мире мер”, способность услышать “Леты слепотекущий всхлип” и плеск тысячелетий (“тысячелетья плещут”) в океане времени и пророческие возможности сивиллы, внимающей “звёздному вихрю”:

Знаю всё, что было, всё, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на тёмном, на косноязычном
Языке людском зовётся – Жизнь.

(Но может быть, иррациональное и есть подлинное?)

Соотношение *было* – *есть* – *будет* на самом деле двумерно, а не трёхмерно: в данной совокупности понятий *было* и *будет* отождествлены с “нет” и, значит, противопоставлены “есть”:

Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна.
Я пью. Ты жаждешь. Сговориться – тщетно. (...)
Я – есмь. Ты будешь. Через десять вёсен
Ты скажешь: – есмь! – а я скажу: – когда-то...

Прошлое и будущее в равной степени принадлежат вечности. Но как же тогда “Будь! – это заповедь моя” и “Умирая, не скажу: *была*”?

В основе соотношения компонентов временной системы “нет” лежит всё тот же незыблемый и неизбывный принцип полярного устройства мироздания: было – будет – есть. Противопоставление *было* – *будет* зиждется на представлении о необратимости земного времени.

Закон бытия, открываемый Цветаевой, есть великий закон встречных течений, обеспечивающий равновесие, а значит, существование. Жизнь – бесконечный поток “в мир приходящих” и “в землю идущих”, падений вниз и ввысь (“Говорю, не лъстись / На орла, – скорбит / Об **упавшем ввысь** / По сей день – Давид” – “Но тесна вдвоём...”), воплощений и перевоплощений:

К груди моей,
Младенец, льни:
Рождение – паденье в дни.

С заоблачных нигдешних скал,
Младенец мой,
Как низко пал!
Ты духом был, ты прахом стал!

(“Сивилла – младенцу”)

Действие рождает противодействие. Закон физики, закон кармы, закон поэзии?

Однако, помнят, что, в руки взяв
Себя, ты выпустил – меня из рук.

Может быть, в этом один из секретов обаяния “серебрящегося” и “сверкающего” своевольного “пенного” гения бессмертной Марины?..

Киев



*О “страшной высоте”,
“чёрной карете”,
Осипе Мандельштаме и Юрии Олеше*

*О.А. ЛЕКМАНОВ,
кандидат филологических наук*

В заметке “Веер герцогини” (1929) Осип Мандельштам назвал сказочную повесть Юрия Олеши “Три толстяка” (1924) “книгой европейского масштаба” (Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 244). Интерес к творчеству друг друга, по-видимому, возник у Мандельштама и Олеши еще в начале двадцатых годов, когда Владимир Нарбут задумал возродить “акмеизм в союзе с одесситами” (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1990. С. 52).

В “Трех толстяках” присутствуют многочисленные скрытые цитаты из Мандельштама. Приведём самую выразительную из них. В третьей главе повести встречаем следующее изображение “чудовищного фонаря”, украшающего одну из площадей, охваченного революционными волнениями города: “...на страшной высоте горел самый большой в мире фонарь (...) Свет его был так прекрасен и так не похож на какой бы то ни было земной свет, что люди дали этому фонарю чудесное имя – Звезда” (Олеся Ю.К. Повести и рассказы. М., 1965. С. 134; далее – только стр.). А начинается третья глава таким описанием: “Внизу медленно и густо шла вода, чёрная и блестящая, как смола. Город опрокидывался в воду, тонул, уплывал и не мог уплыть, только растворялся нежными золотистыми пятнами” (132). Можно почти не сомневаться в том, что Олеся, когда он писал третью главу своего произведения, по-

мнил о знаменитом мандельштамовском стихотворении 1918 года (проецируем его полностью, выделив курсивом мотивы, перекликающиеся с соответствующими мотивами “Трёх толстяков”):

На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная весна, блуждающий огонь, –
Твой брат, Петрополь, умирает!

На страшной высоте земные сны горят,
Зелёная звезда летает,
О, если ты звезда, – воды и неба брат, –
Твой брат, Петрополь, умирает!

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несётся, крылья расправляет...
Зелёная звезда, – в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над чёрною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
Твой, брат, Петрополь, умирает!

В свою очередь, в трёх начальных строфах стихотворения Мандельштама “Я буду метаться по табору улицы тёмной...” (1925), навеянного влюбленностью поэта в Ольгу Ваксель, соблазнительно увидеть “эротическую” вариацию на тему седьмой главы недавно написанных “Трёх толстяков”:

Я буду метаться по табору улицы тёмной
За веткой черёмухи в чёрной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...

Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью – нет, с муравьиной кислинкой,
От них на губах остаётся янтарная сухость.

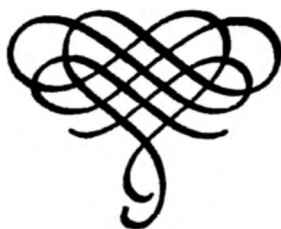
В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой;
И то, что я знаю о яблочной розовой коже...

В седьмой главе “Трёх толстяков”, напомним, доктор Гаспар Арнери мечется в чёрной карете по улицам ночного города в поисках пропавшей куклы наследника Тутти. Главой выше описаны чувства, охватившие доктора, когда ему показали куклу впервые: “Я где-то видел уже это лицо... Ну да, конечно! (...) Оно было живое, оно было живым лицом девочки...” (175). Отметим, что и Ольга Ваксель Мандельштам “знал ещё девочкой по Коктебелю” (Мандельштам Н.Я. Указ. соч. С. 173). Ср. также о Суок у Олеши: “Суок притащила все свои наряды. Они были восхитительны, потому что их смастерила сама Суок” (192),

и об Ольге Ваксель в воспоминаниях её сына: “Собственные наряды она делала сама, изобретательно и изящно” (Смолевский А. Ольга Ваксель – адресат четырёх стихотворений Осипа Мандельштама // Литературная учёба. 1991. № 1. С. 164).

Если наша догадка верна, то тогда становится понятно, откуда на улицах Петрограда в 1925 году появляется “чёрная рессорная карета”.

P.S. Отметим в заключение, что “треугольник” Мандельштам – Надежда Мандельштам – Ольга Ваксель, как он изображён в мемуарах вдовы поэта (см.: Мандельштам Н.Я. Указ. соч. С. 173–181), может быть “спроецирован” на “треугольник” Нарбут – Олеша – Серафима Суок. Ср. в воспоминаниях Э.Г. Герштейн: “Разумеется, давнишние друзья Мандельштамов были окружены Надиными новеллами. Она по-своему пересказывала известную в литературной Москве историю первого брака Серафимы Густавовны с Юрием Олешей, о её бегствах наподобие Настасьи Филипповны от Олеша к Нарбуту, и назад от Нарбута к Олеше (...) Иногда Мандельштамы таинственно говорили о возобновившейся ревности Нарбута или о какой-нибудь новой выходке Олеша, и тон Осипа Эмильевича приобретал при этом неописуемую важность” (Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 74).





ГЛАВНЫЙ ДОМ

О романе Ф. Абрамова “Дом”

Е. В. КРАСИКОВА,
кандидат филологических наук

Что такое для человека дом? Жилище, кров над головой? Гнездо, куда по веточке, по сориночке он сносит всё, что может пригодиться на чёрный день? Недвижимость, предмет купли-продажи? Знак престижности? Способ самовыражения? Очаг, согревающий душу и тело? Храм, в котором совершается таинство рождения и смерти? Таких вопросов можно задать множество, и всякий раз ответ будет “да”. Потому что дом – проявление психологии человека, воплощение его “я”, иными словами, каков человек – таков и его дом.

Символ *дом* в одноимённом романе Фёдора Абрамова, являясь центральным поэтическим образом, отражает внутренний мир писателя, критерии его ценностей. Как и любой символ, он многомерен, поэтому, чтобы постичь смысл столь важного для писателя понятия, необходимо проанализировать множество воплощений символа в романе. По сути дела, дома у Ф. Абрамова составляют систему, параллельную системе образов. Их внешний вид, вещи, их заполняющие, запахи, звуки, дух дома – живой отпечаток личности человека. Дома имеют свою судьбу, и часто эта судьба обнажает сложные противоречия между людьми.

Периферию этой системы составляют городские, леспромхозовские и деревенские дома. Они не связаны с определёнными героями, безлики, однако помогают ощутить атмосферу деревенской и отчасти городской жизни 60–70-х годов. Следующая группа – дома деревенских жи-

глей Евсея Мошкина, Калины Ивановича, бывшего секретаря райкома Подрезова. Эти герои практически не влияют на развитие сюжета, однако представляют собой весьма важные социально-исторические типы, сформировавшиеся в катаклизмах советского времени. В центре системы три дома: новый Михаила, старый пряслинский и ставровский. Социально-историческая типология, характерная для них, в особенности для первой группы образов, отходит здесь на задний план, уступая место психологическому анализу.

Разумеется, предложенная схема условна. Как и любая схема, она не в состоянии отразить всей глубины и сложности смысловых связей в романе, однако достаточно точно выявляет его структурные особенности и поэтому может служить основой для анализа доминирующего в системе поэтических образов символа *дом*.

Описывая деревенские дома, Ф. Абрамов подчёркивает материальное благополучие современной деревни: “Пекашино изрядно обновилось за последние годы. Домов новых наворотили за полсотню” (Абрамов Фёдор. Собр. соч.: В 3 т. Л., 1981. Т. 2. С. 274; далее – только стр.). Однако гораздо важнее для писателя то, что в их внешнем облике проявились нехарактерные в прошлом для деревенского жителя черты: склонность к замкнутости, изолированности: “Прежде дома жилого не огораживали, замка знамом не знали, а теперяка и дома жилые под забор...” (294); потеря индивидуальности, тяга к стандарту: “какими скучными, какими неинтересными казались нынешние новые дома – однообразные, предельно утилитарные, напоминающие какие-то раскрашенные вагоны” (330).

В сущности, и жизнь по стандарту, и утилитарное отношение к вещам, людям, и нежная забота о благополучии только себя самого, и желание отгородиться от остальных – черты психологии обывателя, неважно какого – деревенского, городского или вселенского. В основе такой психологии лежат искажающие естественные связи отношения человека с миром, в котором он чувствует себя не частицей бесконечного целого, а его центром. Именно интерес обывателя, в простейшем случае меркантильный – возможность получения выгоды, определяет его взаимоотношения с действительностью. Единственный критерий правильности и оправданности его поступков – польза. Вот почему, казалось бы, рачительный хозяин, Паха-рыбнадзор легко разрубил, изувечил ставровский дом, ведь купленная за бесценок часть дома для него – всего лишь добротное жилище, начало семейной улицы. По сути же, это начало экспансии обывателя, самодовольного, агрессивного в своём всепоглощающем желании самоутвердиться.

Утилитарный, эгоцентрический подход к жизни, неизбежно вытекающие отсюда равнодушие к будущему проявляется и в отношении к природе, в частности, в деятельности таёжных леспромхозов: приходят люди, “вырубают, выкашивают окрест леса, вытаптывают жизнь – и

далее” (334). Писатель выражает своё отношение к этому через образы покинутых леспромхозовских домов: “Годами, до скончания века стоят мёртвые дома и бараки... скрипят, стонут в зимние метели и вьюги...” (334). Дом, покинутый хозяином, лишившийся своей души, – мёртвый дом. Стонущие мертвецы – веками в разных национальных традициях – призраки, те, кто погиб в нарушение законов справедливости, чья душа не обрела покоя. Дома-призраки населяют таёжные вырубки, дома, потерявшие людское тепло, погибшие неестественной смертью.

Конечно, лесорубы делают это не по своей воле, пожалуй, слово “воля” здесь вообще неуместно. “Вытаптывают жизнь” они по приказу, исходящему от власти, которая, подобно деревенскому обывателю, руководствуется в своих действиях принципом личной заинтересованности (в данном случае имеется в виду не персональный интерес отдельного чиновника, а так называемый государственный интерес, то есть государство выступает как лицо). Образное воплощение власти в романе – здание райкома: “Просторный двухэтажный домина кирпичной кладки (...) (на веки вечные поставлен!), и внутри нарядно, как в храме: пол из цветной плитки, стены расписные, зеркала... Окна во всю стену (...) с занавесками белыми, шёлковыми (...) люстры с хрустальными подвесами, красная ковровая дорожка...” (368–369). В описании райкома Ф. Абрамов подчёркивает основательность (домина), претензию на бессмертие (на веки вечные), священность (сравнение с храмом). Все эти черты присущи любой власти, поскольку любая власть отождествляет себя с государством и считает необходимым продемонстрировать его мощь и процветание, что бы там ни было на самом деле. Только ведь и шёлк, и хрусталь, и ковры, и зеркала – вся эта атрибутика роскоши вряд ли уместна в храме, зато по характеру очень напоминает содержимое новых деревенских домов – “серванты с золотыми скобами”, “ковры с красными розами” и т.д. Какая улица ведёт к этому храму? Может быть, будущая улица династии Пахи-рыбнадзора? Тогда будущее за “вырубленной жизнью”.

Как уже говорилось, помимо безличной массы городских, леспромхозовских, деревенских домов, образы которых отражают наиболее общие тенденции в развитии общества, в романе есть дома, связанные с судьбами второстепенных персонажей – Евсея Мошкина, Калины Ивановича, Подрезова. Каждый из этих героев представляет собой социально-исторический тип.

Выражение “вырубленная жизнь” можно отнести не только к таёжным чащам, но и к людям. Судьба Евсея Мошкина – это судьба сломленного государством человека. У каждого свой предел выживания, физического и духовного. Евсей остался жить, но его личностное начало во многом разрушено. Дом Евсея – “конура на задворках у Марфы Репишной, куда она загнала своего двоюродного брата за пьяные гре-

хи" (358) – нечто недостойное человека, как и всё его существование после возвращения из лагерей. И всё-таки жилище отражает лишь часть его жизни. В испытаниях он не сумел сохранить себя как деятельную личность, но осталось главное в его душе – способность интуитивно и безошибочно различать добро и зло. Поэтому вполне достоверно звучит отказ Евсея, беспробудного пьяницы, пить на "иудины деньги" с Егоршей, продавшим половину дедова дома. Это бунт против духовной бездомности.

Судьба Евсея Мошкина, да и миллионы других судеб во многом зависели от людей типа Калины Ивановича и Подрезова. Личностные особенности каждого из них накрепко связаны с жизнью страны: Калины Ивановича – с периодом "победного шествия советской власти", Подрезова – с периодом "строительства социализма".

В описании дома Калины Ивановича бросается в глаза ветхость, убогость, запущенность, недаром автор называет это строение жалостливо-презрительно "избёнка": "У Дунаевых с ходу крыльцо не возмёшь: впокат, вперекос и ступеньки, и верхний настил (...) От ворот... как в погреб спускаешься, затем доски, прямо на землю набросаны..." (398); "когда каменку затопишь, из всех щелей и пазов дым" (313). Калина Иванович – вечный странник, одержимый, неуёмно активный, стремящийся во всё вмешаться, везде наставление дать, всем разъяснить, что такое счастье и как его обрести. Ему кажется, что он занимается созиданием – строит новый большой дом размером со всю страну. Но при этом у него нет ни охоты, ни умения выстроить хотя бы единственный – свой: "– Да, я за свой дом не держался. Мне вся страна домом была" (400). Похоже, это предмет его гордости, ему кажется, что подобная жизненная позиция говорит о масштабе личности, презиравшей мелочи жизни. Чтобы преодолеть разруху в стране, такие люди, как он, пытаются мыслить глобальными категориями, только на самом деле, по блестящему выражению булгаковского героя, у них "разруха в голове", а это и есть первоисточник всех разрушений, больших и малых. Герой революции, элита нового общества, он в своих коротких репликах-рассуждениях кажется совершенно беспомощным, жалким, недалёким рядом с негероическим крестьянином Михаилом, который и умом и сердцем отлично понимает, что "Россия-то из домов состоит... Да, из деревянных, люди которые рубили" (408).

Организация коммун, борьба с басмачами, поиски формы жизни, из которой само по себе вырастет дерево счастья, сменились новым этапом. На смену героям-кочевникам, подгоняемым революционным порывом, пришли другие люди – строители социалистического общества, самого, по их мнению, справедливого общества на земле. Они строили, не жалея ни себя, ни других, новое могучее государство "во имя человека" ценою лишений и страданий миллионов людей. Такой тип личности представлен в образе бывшего секретаря райкома Подрезова, на

склоне лет немощного старика, в котором лишь угадывается времена-ми былая жёсткость, непреклонность, сила.

Недостроенный дом Подрезова, пожалуй, – один из наиболее сложных образов в романе, поскольку он не обладает достаточным контекстом для дешифровки. Роман даёт возможность выявить только три основных понятия, связанных с подрезовским домом: незавершённость (дом не достроен); трудность задачи (в фундамент дома заложены поднятые из русла речки “валуны”, “каменные глыбы”, “скалы”); непосильность задачи (Подрезов надорвался на строительстве дома). Но чтобы прояснить смысл этих понятий, их символическое значение, необходимо обратиться к предыдущим частям тетралогии. Там Подрезов – секретарь райкома партии, энергичный, бескомпромиссный во всём, что касается интересов страны. Будучи средним звеном партэлиты, он действует и во имя, и от имени государства. В процессе этой деятельности (не только деятельности Подрезова, разумеется) происходит вполне закономерная метаморфоза: идея государства для народа на деле сменяется негласным законом: “народ – строительный материал для государства”. Очевидно, что не эти цели и способы их достижения истинны для писателя, настоящее – в других людях, в других домах.

Три дома находятся в центре повествования: новый Михаила, старый пряслинский и самый главный – ставровский дом, где завязан узел основных противоречий как прошлого, так и настоящего. Показывая свой дом братьям, Михаил преисполнен гордости. Действительно, есть чем гордиться, ведь всё это крепкое, добротное, с любовью строенное – всё сделано своими руками: “людей брал только на окладное да на верхние венцы, а тут всё сам. (...) по утрам топориком махал, до работы” (279–280). Но для того, чтобы дом стал Домом, в котором живут не только полированные серванты и ковры с красными розами, необходимо нечто гораздо более важное – человеческое тепло, взаимопонимание, а этого в семье Михаила нет. Поэтому душа его раздвоена: часть – здесь, в новых деревенских хоромах, ладных, приглядных, как жена Раиса, часть – в старом пряслинском доме с Лизой, с братьями, с памятью об отце и матери. Вот почему Ф. Абрамов ставит новый дом Михаила фактически в один ряд с домами других деревенских обывателей, похожими на раскрашенные вагоны: “И, увы, дом Михаила, может быть, лучший из всех новых домов, тоже не был исключением” (330). Вот почему и сам Михаил, хоть и гордится “своим расчудесным новым домом, а душой и сердцем там, в старой пряслинской развалухе” (436).

Пряслинский дом и дом Михаила – антиподы. Ветхость и запустение старого дома (“сгорбился, осел, крыша поросла зелёным мхом”) контрастируют с новизной, добротностью собранного под крышу хозяйства Михаила. Но не в этом основная разница между ними. Восстанавливая пряслинский дом, Лиза, Пётр возвращают ему душу, тепло человеческих отношений, то, что составляло атмосферу этого дома в трудные

военные и послевоенные годы, что передаётся ему от людей, что невозможно создать даже самыми умелыми руками и чего так не хватает в новом доме Михаила, в его внешне благополучной семье.

Старый пряслинский дом по духу своему – двойник ставровского, потому что в нём жили и теперь вновь поселились любовь и сострадание. Эта внутренняя связь выражается в решении Лизы поставить на дом деревянного коня, снятого с разорённого ставровского дома. Деревянный конь, вознесённый на крышу, ни для чего не нужный – только для красоты, для памяти, воплощает протест против утилитарного подхода к жизни, стиснутой рамками пользы: “... не просто деревянного коня сейчас везли к ним в закоулок. Степан Андреянович, вся прошлая жизнь въехала с конём на их подворье” (497). Но сохранить прошлое, установить знак единства между ушедшим и настоящим не так просто. Необходимы значительные духовные и физические усилия, а значит, необходима поддержка близких людей, сильных и любящих.

Эпизод с водружением деревянного коня на крышу пряслинского дома – его падение, несчастный случай с Лизой – тоже имеет символический смысл. Непосильную тяжесть взвалила на себя Лиза, и в прямом, и в переносном смысле, а брат, который до рождения внебрачных близнецов у сестры всегда был ей опорой, отвернулся, сурово осудив её по законам ханжеской морали, остался в стороне. Вот почему не будет преувеличением сказать, что в несчастье с Лизой виноват прежде всего Михаил, виноват своим отстранением, что нередко становится формой предательства. Свою вину Михаил осознаёт в конце романа, для этого потребовалось потрясение – тяжёлая травма Лизы. Только теперь, вспоминая напутствие отца-солдата, уходившего на фронт, обращённое к нему, старшему сыну, новому хранителю очага, он понял смысл тех простых и мудрых слов.

Ставровский дом не тронули новые веяния, здесь всё так, как было при Степане Андреяновиче, – “некрашенный пол”, “не оклеенные бревенчатые стены со старыми сучьями и щелями...” (284). Но при этом он не производит впечатления убожества, как скроенное без заботы и любви жилище Калины Ивановича. Этот дом красив истинной красотой, не имеющей ничего общего с желанием покрасоваться, что печатю лежит на новых деревенских домах. Здесь живут цвета, запахи и звуки самой природы: “Янтарный. Звоном звенит”, идёшь по нему, “как по лесу на вечерней или утренней заре”. Это “дом-богатырь”, всё здесь “крупно, размашисто”, как будто тут и “жил богатырь” (330). Ещё в фольклорной традиции богатырь наделялся не только физической силой, но и широтой души, честью, доблестью. Вот и здесь, в романе, Пётр, любящий ставровским домом, так думает о Степане Андреяновиче: “Ведь чтобы выстроить такие хоромы – какую душу надо иметь, какую широту натуры, какое безошибочное чувство красоты!” (330). И в доме, и в личности давно умершего хозяина воплощено всё

лучшее, светлое, что есть в русской натуре, что близко и дорого самому писателю. Вероятно, поэтому ставровский дом становится центром, куда сходятся все сюжетные линии.

Отношение к дому, к его судьбе, будущему выявляет истинную суть героев романа, не оставляя места для полутонов, выявляет в них самое главное – для чего человек приходит в мир: “вытаптывать жизнь” или умножать её. Главные разрушители, те, кто разоряет ставровский дом – Егорша и Паха Баландин, продавец и покупатель. На первый взгляд они очень разные: семьянин, хозяин, накопитель Паха и Егорша – легкомысленный кочевник, человек, живущий сегодняшним днём, даже гнезда не свивший, без определённых занятий, без будущего. Но домовитость Пахи и бездомность Егорши одной природы – оба они живут так, как им хочется, личный интерес определяет их цели, для достижения которых всё дозволено. Дозволено разорить дом, осквернить память о деде, вытоптать жизнь, творение рук и души человеческой, превратить дом-богатырь в “какую-то безобразную уродину” (496). Но какие бы отвратительные поступки ни совершал Егорша, он всё же в состоянии испытывать чувство стыда: “Он даже посмотреть не решался в ту сторону, где стоял разорённый им дедовский дом...” (506). Иное дело Паха – “этот ради своей корысти не то что дом разломает – деревню спалит” (427).

Главной защитницей, хранительницей дома становится Лиза. Именно ей, а не внуку Егорше оставил Степан Андреевич свой дом-богатырь. Видимо, понимал, что родными люди становятся не по рождению, что духовное родство выше кровного. Недаром Лиза называет Степана Андреевича “татя” – отец. Она чувствует свою связь с его домом, который для неё меньше всего жилище: “Господи, да помру я, что ли, без дома! Мне само главное – чтобы дом целёхонек был, чтобы память о тате на земле стояла” (410). Дом для неё – словно живое существо, прекрасное и незащищённое. Она и говорит с ним, и воспринимает всё, что окружает его, как живое, способное испытывать боль, страдать. Вот почему, не сумев помешать продаже части дома, она винит во всём себя и ощущает грядущую гибель дома как конец близкого существа, которое она не сумела уберечь от злой судьбы: “Она не пошла к ставровскому дому. Сил не было глянуть в глаза окошkam, встретиться взглядом с крыльцом, с конём, которых она предала”, “вслед ей с горы тоскливо, с укором смотрел деревянный конь – она спиной чувствовала его взгляд, – старая ливенница причитала и охала по-бабьи, баня и амбар протягивали к ней свои старые руки...” (412).

Конечно, Лиза не одинока в своём стремлении спасти ставровский дом. На её стороне и Анфиса Петровна, бывший председатель колхоза, и братья-близнецы. Но у них недостаёт сил противостоять нашествию обывателя. Пожалуй, единственный, кому это по плечу, брат Ми-

хаил. Но хотя ему дорога память о Степане Андреяновиче, небезразлична судьба дома, раздор с Лизой становится причиной его невмешательства, поэтому в гибели дома так же, как и в несчастье, случившемся позже с сестрой, есть и его вина. И всё-таки конец романа обещает примирение. Ставровского дома уже нет, но можно возродить старый пряслинский, куда вернутся одинокие бездомные души братьев, и это возрождение будет покоиться на прощении и любви.

Ставровский и пряслинский дома родственны, как родственны люди, живущие в них. Это о них, о Лизе, Михаиле, Степане Андреяновиче и людях, подобных им, говорит Евсей Мошкин: “Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов” (360). Эти слова – ключевые в понимании значения символа в романе “Дом”. Не будь их, не было бы символа, а многочисленные дома стали бы лишь вспомогательным поэтическим приёмом, способствующим раскрытию характеров и шире – формированию системы образов.

Понятия *дом* и *душа* в романе Ф. Абрамова становятся нерасторжимым единством, в котором душа – главный дом – доминирует. В толковых словарях слово *дом* объясняется, как правило, через синонимы, один из которых *здание*. А в слове *здание* тот же корень, что и в глаголах *создать*, *созидать*, то есть творить. Иными словами, в языковом сознании существует устойчивая связь между понятиями *дом* и *творчество*. Но для Абрамова созидание само по себе не является абсолютно положительным деянием. Истинное созидание – лишь то, что в сознании, в строе души человека и, как следствие, в его образе жизни. Оно противопоставлено разрушению, равнодушию, ограниченности. Поэтому и настоящий дом – только тот, в котором обитает душа, открытая миру. Подобная расшифровка символа позволяет увидеть неявную, но реально существующую в романе оппозицию понятий *чувство дома* и *бездомность* как состояние души. Благодаря этому выявляются внутренние связи в системе образов. Главные герои – Лиза, Михаил – обладают чувством дома, которое выходит за порог их собственного жилища, распространяется далеко в мир. Поэтому Лизе так дорога судьба ставровского дома, даже если он не будет принадлежать ей, а Михаил испытывает боль, глядя на запущенные колхозные поля. Духовно родственны им братья Пётр и Григорий, Анфиса Петровна.

Эти герои противопоставлены двум другим группам образов, которые условно можно назвать *относительно* и *абсолютно бездомные*. Первая группа весьма разнородна: это и Паха Баландин, и Калина Иванович, и обитатели новых деревенских домов, похожих на раскрашенные вагоны (жизнь – транзит). Несмотря на разные судьбы, характеры, их объединяет одно общее свойство – у них есть жилище, но нет главного дома, который человек строит в своей душе. Абсолютно бездомные – Егорша, Фёдор Пряслин, всю жизнь мыкающий по тюрьмам.

Это люди, лишённые какого-либо дома и в материальном, и в духовном смысле этого слова.

Но бездомность – не смертный приговор. Она преодолима, хотя и с трудом, потому что для этого необходимо стечение множества обстоятельств. Чтобы состоялось возвращение блудного сына, нужен отчий дом, где его поймут, простят, поддержат, и нужно глубокое, пронизывающее всё его существо раскаяние. Оно станет первым камнем в фундаменте Главного дома, который может построить каждый, потому что нет в мире препятствий, способных помешать этому, кроме одного – самого человека.





СТИХИ НИКОЛАЯ СТРАХОВА, КРИТИКА И ФИЛОСОФА

В историю русской словесности Николай Николаевич Страхов (1828–1896) вошёл как публицист, литературный критик (“тончайший”, по определению А. Фета) и философ. Его перу принадлежат сохраняющие и поныне своё значение статьи о Пушкине, Тургеневе, Толстом, Достоевском, о литературной жизни 60–80-х годов XIX века. Он был из числа тех, кто, по меткому наблюдению Н.Н. Скотова, “внешне вроде бы не выходя на первый план, играют роль гораздо более существенную, чем принято обычно думать” (см.: Страхов Н.Н. Литературная критика. М., 1984. С. 5).

Однако Страхов обладал ещё одним талантом – поэтическим. Правда, сам он не обольщался насчёт своих “небольших попыток художественного писания”, относясь к ним снисходительно и надеясь на доброжелательное понимание со стороны читателей, которые “не станут подозревать во мне больших притязаний”. И словно извиняясь и заранее благодаря, Страхов писал: “В душе поэтов творчество горит ярким пламенем, но искра такого таланта часто теплится и в других людях” (Страхов Н.Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 297). А в начатой, но неоконченной им “Истории моих стихов” Страхов, “благоговей” перед поэтами и выделяя их “из всего мира умных существ”, объяснял свою любовь к ним тем, что “в их творениях больше истинного, нежели сколько есть во всех глубоко-мысленных мечтаниях философов”. И добавлял: “Можно сделаться философом, потому что можно всякому более или менее привыкнуть к отвлечению и к логике, но без естественно-мягкой души и упругого дара слова нельзя быть поэтом” (Нива. 1897. № 10. Стлб. 283, 284).

Свои стихотворные опыты Страхов представил в книге “Воспоминания и отрывки”, куда вошло 20 стихотворений, девять из которых были опубликованы ещё в 60-е годы, в периодических изданиях, а девять других – в том же, 1892 году в “Русском обозрении”

(№ 9. С. 5–12). И уже после смерти Страхова увидели свет семь его неизданных стихотворений (Нива. 1897. № 10. Стлб. 279–294).

Его первое напечатанное стихотворение “Ночная заметка” появилось за подписью Н.С. в шестой книжке “Современника” (1854) как полемический отклик на стихотворение А.Н. Майкова “Весенний бред (М.П. Заблоцкому)”, опубликованное в четвёртой книжке “Современника” за тот же, 1854 год. Майков утверждал приоритет поэтического чувства, для него ближайший путь к истине не в доводах разума, а в поэтическом откровении. В своём стихотворном ответе Страхов выступил в защиту разума, однако не противопоставляя науку поэзии, не рассматривая их как нечто друг другу враждебное. Беда не в том, заявляет он, что “слаб у человека разум”; “Беда – заносчивость кичливая ума, / Беда – к умам других неправое презренье”.

Убеждённый рационалист, Страхов прошёл школу классической немецкой философии и вынес из неё историзм мышления, трезвый взгляд на жизнь, веру в могучую силу познания. Из автобиографии Страхова известно, что он был большим книголюбом, “книгоедом”, как сказано им в “Ночной заметке”. И когда он в том же стихотворении пишет о себе: “...меня давно уж поглотил/Безмерный мысли мир, вселенная познаний. / Чарующая глубь влечёт меня к себе”, – эти его строки можно воспринимать не как условную художественную формулу, но как выражение внутренней сущности поэта, предопределившей отличительные особенности его произведений.

В герое лирики Страхова в значительной степени воплотились черты духовного облика самого поэта. Его герой постоянно рефлексировал, он занят самоанализом, самоуглублением, что неминуемо ведёт к разочарованию жизнью. Горькие сетования облекаются в традиционные, романтические образы. Тут и “досада пустых огорчений”, и “какая-то грусть без предела”, и “Всё ложно в жизни повседневной”, и “мерзость пошлости и зла”, и прочие атрибуты романтической лирики.

Известная “литературность” сказывается и в разработке Страховым темы поэта, не понятого “злоречивой толпой” (“Не верь себе”, 1853; “Нет! затаи, поэт...”, 2-го сентября 1856; “Поэту”). В стихотворениях на эту тему Страхов перекликается с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым. Так, строки:

Нет! затаи, поэт, свои порывы,
Для всех запри святилище твоё, –

“отсылают” нас к поэтической декларации известного стихотворения Тютчева “Silentium”:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Отзвуки пушкинского сонета “Поэту (Поэт! не дорожи любовью народной...)” имеются в стихотворении “Не верь себе”:

Не дорожи же их участием,
За их хвалою не гонись,
Не дорожи житейским счастьем
И ни пред кем не преклонись.

Обращённый к поэту призыв Страхова:

Будь гаером, актёром иль шутом,
Но берегись быть самим собою! –

заставляет вспомнить заключительные строки стихотворения Лермонтова “Не верь себе”: в них “толпа” иронически сравнивает поэта с разрумяненным трагическим актёром, “махającym мечом картонным”.

Возможно, своеобразные “поэтизмы”, ассоциативные связи с творчеством предшественников и современников объясняются особенностями социально-психологического, культурного облика лирического героя – человека начитанного, немного книжного. Как бы то ни было, влияние традиции в стихах Страхова преодолевалось искренностью и глубиной чувства, собственными интонациями. Философские мотивы при этом не выступают обнажённо, они как бы растворяются в лирических излияниях героя. Это характерная примета образного строя стихотворений Страхова.

Для Страхова-поэта характерно стремление к простоте выражения. Одно из его бесспорно лучших произведений, в котором этот принцип получает высокое художественное воплощение, – стихотворение “Далеко” (1858). С завидным мастерством в нём запечатлено благоговейное отношение к женщине, преклонение перед её красотой. Страхов обратился здесь к форме октавы, которая своей развёрнутостью, законченностью и гибкостью помогла ему достичь большого поэтического воздействия. Той же простотой и безыскусственностью отмечены и другие его стихотворения – “Комета”, “Грёзы”, “Юность”, “Заботы”, “Воробьёвский парк”, “Ночь (П.А. Кускову)” и др.

Философская направленность поэзии роднит Страхова с Тютчевым и поздним Фетом. О Тютчеве, например, вспоминаешь при чтении “Заботы” (1853), перекликающемся – и в идейно-тематическом плане, и образным строем – со стихотворением “Из края в край, из града в град...” В обоих произведениях выражено осознание полной зависимости от общего хода жизни. Их ритмика создаёт полную ил-

люзию непрерывного, безудержного движения “вперёд, вперёд!”. И слова в них тоже в движении: заканчивая одну мысль, они тут же начинают новую. Образ “беспощадно-строного бича” в “Заботах” соответствует тютчевскому – “судьбы-вихря”, сметающего на своём пути людей. Душевное смятение человека, бессильного перед судьбой, находит адекватное выражение у обоих поэтов.

Не время радоваться нам
И вспомнить и взгрустнуть не время;
Что мимо – то осталось там!
Ничто не дорого, всё время, –

читаем мы у Страхова, и это заставляет нас вспомнить Тютчева, который, умоляя и заклиная возлюбленную не оставлять его одного в этом страшном мире, приходит к заключению:

Не время выкликать теней:
И так уж этот мрачен час.

Трагическим “вперёд, вперёд!” объясняются эти неумолимо-строгие: “Не время радоваться нам”, “Не время выкликать теней”.

Летим, смысл жизни потеряв;
Там бездна!.. Что она? Не знаем
И не опомняся, стремглав
В ту бездну мрака упадем.

Связи с Тютчевым обнаруживаются также в стихотворениях “Опять грущу...” (7-го декабря 1845) и “Жизнь” (1857). В первом мысль о человеке и его земном существовании через сравнение с аналогичными явлениями в природе наполняется философским содержанием – наиболее распространённый у Тютчева структурный тип. Во втором – человек получает “тютчевскую” масштабность, он способен обнять своей мыслью и чувством Вселенную и обнаружить в ней “хаос”:

И небо, и землю,
И жизни красу и печаль
Я взором объеблю,
И вижу, и внемлю –
Хаоса безбрежную даль.

Влияние позднего Фета (периода “Вечерних огней”) также ощутимо в поэтическом творчестве Страхова. Так, в стихотворении “Воспоминание” (1886) имеются отголоски фетовского образа “Вечерних огней”: Страхов создаёт по аналогии образ “безнадёжно гаснущего вечера”, “бледнеющего заката” жизни. Утверждение бес-

страшния перед лицом смерти (“того, что неизбежно”) в стихотворении 1884 года “Е.Е. (И осторожно, и небрежно...)” созвучно размышлениям Фета о смерти. Не случайно Страхов восхищался крепостью натуры Фета, его “жизненностью”, которая давала ему силу торжествовать над смертью (см. об этом: Благой Д.Д. Мир как красота. О “Вечерних огнях” А. Фета // Фет А.А. Вечерние огни. М., 1981. С. 625). Композиционная схема стихотворения Фета “Кому венец: богине ль красоты...” использована Страховым в его стихотворении “Эстетику”. Фет, как известно, провозгласил в этом стихотворении приоритет объективного мира перед субъектом, его воспринимающим:

Не я, мой друг, а божий мир богат.

Употребляя формулу Фета “не я, а...”, Страхов, как бы вопреки ему, восклицает:

Не мир хорош, а хороша
В тебе порой твоя душа.

Концовка стихотворения “Грёзы”:

И месяц, и звёзды, и розы,
Какая-то грусть без предела,
И ласки, безумные ласки,
И слёзы, горячие слёзы, –

характерно перекликается со стихотворением “Шёпот, робкое дыханье...”. Они похожи и конструктивно: построены только на запятых.

Печатью фетовского “целомудрия” отмечены строки из стихотворения “Извинение” (1887):

Невольно я ответил пеньем
На задумчивый звук речей,
Внимание девственных очей
Невольным встретил умилением.

Наличие в стихах Страхова фетовского “элемента” подтверждает, между прочим, любопытный казус, не отмеченный в критике. В “Ниве” (1898. № 8. Стлб. 621–622) под рубрикой “Из посмертных стихотворений Н.Н. Страхова” было напечатано стихотворение... Фета “Солнца луч промеч лип был и жгуч и высок...”, впервые опубликованное в “Вестнике Европы” (1885. Т. I).

Скромное по объёму и значимости, но не лишённое самобытности и индивидуальности, поэтическое творчество Николая Страхо-

ва, несомненно, заслуживает внимания как историко-литературный, эстетический феномен, позволяющий глубже и полнее понять и самого автора, и нашу отечественную поэзию середины и второй половины XIX века.

П.А. Гапоненко ©,
кандидат филологических наук
Орёл

НИКОЛАЙ СТРАХОВ



Не верь себе

В минуту слабости душевной
Не верь, не верь себе, поэт!
Всё ложно в жизни повседневной,
И лжи в одном восторге нет.

Смотри, – не знают люди сами,
Что их волнует и влечёт;
То – кровь горячными струями
В их сердце трепетном течёт.

И детям радостным подобны,
Без меры мыслей и страстей,
Они безжалостны и злобны,
Как дети в резвости своей.

Не дорожи же их участием,
За их хвалою не гонись,
Не дорожи житейским счастьем
И ни пред кем не преклонись.

Лишь беспорочный дух поэта,
Как высший дар, не погуби,
И твой восторг, как искру света
Во мраке жизни, возлюби.

В минуту слабости душевной
Не верь, не верь себе, поэт,
Всё ложно в жизни повседневной,
И лжи в одном восторге нет.

1853

Заботы

Нас гонят! Слышите, свистит
Бичей размах неумолимый?
Смотрите – чёрный рой летит,
То рой забот неотразимый.
Им нет числа, им нет конца,
Все те ж, а кажутся другими,
Не обращая к ним лица,
Мы убегаем перед ними.
Летим. Мелькает день за днём,
Мелькают годы за годами;
Не время думать над путём
И любоваться сторонами,
Не время радоваться нам
И вспомнить и взгрустнуть не время;
Что́ мимо – то́ осталось там!
Ничто не дорого, всё бремя.
Всё – чувство, слово – тяжело;
Бич свищет беспощадно-строгий,
И свет ума, души тепло
Бросает в искрах по дороге.
И, бедны светом и теплом,
Спешим, сначала подымаясь
Всё выше, выше, а потом –
Невозвратно опускаясь.
Летим, смысл жизни потеряв;
Там бездна!.. Что́ она? Не знаем!
И не опомняся, стремглав
В ту бездну мрака упадаем.

1853

Жалоба

Как смутный сон, уходят дни за днями,
И каждый день для прошлого бледней;
Не дышит ум высокими мечтами,
Немое сердце спит среди людей;
Бессилим, как тяжкими цепями,
Я удручён во цвете лучших дней.
И я томлюся жизнью безотрадной,
Как язвою мучительной и смрадной.

Зачем же ты, жестокая судьба,
В меня святую искру заронила?
Зачем тобой мне суждена борьба
И не дана властительная сила?

Зачем рука и грудь моя слаба,
А ты огонь горящий в них вложила,
Огонь живой негаснущих стремлений,
Огонь стыда и горьких сожалений?

1853

* * *

Когда-нибудь, читатель добрый мой,
Когда затихнет боль воспоминаний,
Когда смирит божественный покой
И дум мятеж, и трепет пожеланий,
Я расскажу октавой золотой
Тебе всю немочь страдную страданий,
Всю грязь, всю мерзость пошлости и зла,
Всё, чем душа испугана была.

Не к этой жизни был я предназначен,
Иной мечтой мой ум обворожён!
Блажен, в ком гнев до гроба не утрачен,
Кто до конца со злом не примирён.
Но стыд тому, кто злобою охвачен
И умиленьем кротким не смягчён,
Кому так сладко гнева трепетанье
И чёрной желчи злое закипанье..

1856

Жизнь

Есть трепет – присущий
Природе и жизни людской,
Есть глас – вопиющий
В пустыне души молодой.

Внезапно и смутно
Промчится таинственный гром,
И видится – чудно
В ночи непробудной
Тьма мира сверкнула огнём.

И небо и землю,
И жизни красу и печаль
Я взором объеблю,
И вижу, и внемлю –
Хаоса безбрежную даль.

Безумно отважно
Гляжу я на ход мировой,
И дивно, и страшно
Свершается жизнь предо мной.

1857

К ней

Прелестных глаз немые речи
Давно прилежно я читал,
Но долго ждал я милой встречи,
Но долго сердцем тосковал.

Холодный блеск и взор жеманный
Меня не грел и не манил,
И ваших глаз огонь желанный
Невероятно был мне мил.

От ваших взоров, вашей речи
В огне и неге грудь моя;
В недолгий срок счастливой встречи
Надолго очарован я.

Я увезу на север дальшой
Раздумье сладкое о вас;
В тиши труда и в зале бальной
Я не забуду ваших глаз.

29-го сентября 1859 г.

Комета

(Писано в 1859 г., когда видна была комета Донати)

Вот ночь, и странными лучами
Опять небесный свод блеснит:
Меж помрачёнными звездами,
Их застилая волосами,
Звезда косматая горит.

Как будто в бешеном стремленьи
Хвост разметавши за собой,
Она, полна недоуменья,
Остановилась на мгновенье
Над потемневшею землёй.

Невольно думаю: комета!
Увы! В былые времена
Ты, как зловещая примета,
была бы ужасом полсвета,
Для мудреца и для поэта
Томящей тайною полна.

И я, средь чёрных размышлений,
Тебя бы спрашивал с тоской:
“Что ты? Какой грозящий гений,
Властитель дольних поколений,
Из тьмы небес летит с тобой?”

Или, как на стенах чертога
Незримый некогда писал,
Так и тебя – не перст ли Бога,
Как букву заповеди строгой,
Огнём на небе начертал?”

Но слава Вышнему! Познали
Мы дух, которым мир храним;
Века проклятья миновали,
И думы страха и печали
Прошли – и не вернуться им.

Перед сияньем мысли смелой
Распался древний неба свод,
И без конца и без предела
Пространство мрака просветлело
И мирозданья тайный ход.

И ныне, радостно, комета,
Гляжу я, как блистаешь ты;
Ты не грозящая примета, –
Для взора вещего поэта
Ты – искра будущего света
Среди царящей темноты.

Настанут дни – мир обновится,
И человек, согбенный в прах,
Над миром смело воцарится
И ничего не уstraшится
Ни на земле, ни в небесах.

Грёзы

В тиши моей жизни ничтожной,
В досаде пустых огорчений
И в шуме пустого веселья
Дремлю я душою тревожной.

Но полный тяжёлой дремоты,
Я чувствую, сердце тоскует,
И снится, и грезится вечно
Ему непонятное что-то:

Какие-то дни золотые,
Какие-то дивные речи,
Какие-то крепкие силы,
И мысли, и чувства святые,

И месяц, и звёзды, и розы,
Какая-то грусть без предела,
И ласки, безумные ласки,
И слёзы, горячие слёзы.

На смерть брата Павла

С чертами, смертью просветлёнными,
Передо мною ты лежал,
И долго взорами смущёнными
Я в смысл их тайный проникал.

На лбу, среди кудрей откинутых,
Какой покой и красота!
И этих губ, навеки сдвинутых,
Какая дивная черта!

Да, в мире злобном и поруганном
Ты был лишь гость, а не жилец;
И сердцем, жизнью испуганным,
Ты отдыхаешь наконец!

1861

Воробьёвский парк

Когда душа твоя чиста
И безмятежно сердце бьётся,
Ступай туда, где тень густа,
Где жаркий луч сквозь ветви рвётся.

Там будет всё тебя ласкать:
Свет, воздух, чудный вид с дорожки,
И золотые будут мошки
Вкруг головы твоей мелькать.

Но если духом ты взволнован
И шевелится страсть в груди, —
В мой парк ты лучше не ходи:
Он тайной силой зачарован.

Тебя луч солнца обожжёт,
Пень сам под ногу подвернётся,
И вид чудесный пропадёт,
Клещ жадный в грудь тебе вопьётся,
И будут жалить мух полки
Твой лоб, и шею, и виски.

1878

Воспоминание

Всё помню: звук морских зыбей,
И крест над дружеской могилой,
И как зажёгся образ милый
В душе померкнувшей моей.

Черты – бледнее изваянья,
Но жизнь во взоре молодом,
И в сердце трепетно-больном
Великодушные желанья, –

Благословенны им стократ!
Мой вечер гаснет безнадежно.
Но вы взошли звездою нежной
На мой бледнеющий закат.

1886





“ЦВЕТ ПЛАТЬЯ НАПОМИНАЛ...”

Есть ли у языка своя логика?

***А. К. КИКЛЕВИЧ,
доктор филологических наук***

Трудные вопросы хороши тем, что они сохраняют преемственность поколений. Еще в X веке арабский мыслитель Абу Хаййан ат-Таухиди критиковал распространенное в средневековой европейской науке представление о том, что все языки имеют единую логическую основу, и утверждал обратное: у каждого языка своя логика. На протяжении веков этот вопрос не раз становился предметом оживленных дискуссий, интерес к нему не угасает и в современном языкознании. Больше того, в последние десятилетия стало модным увлечение лингвистов логическими методами описания языка, и в этой области получено немало интересных результатов. Однако отнюдь не все лингвисты в этой моде “находят вкус” — доказывая нелогичность естественного языка, они обнаруживают все новые и новые подтверждения того, что многообразие фактов одного языка, а уж тем более многообразие языков никак не сводится к реестру норм правильного мышления.

Казалось бы, этих фактов уже предостаточно, а вывод, который следует из них, очевиден, но, видимо, интуитивно лингвисты следуют совету великого французского языковеда Э. Бенвениста, который писал, что и у очевидных фактов иногда бывает полезно потребовать подтверждения их очевидности.

Последуем этому совету и мы.

Если условиться, что в основе нашего речевого поведения лежат определенные п р а в и л а (а это, кажется, ни у кого не вызывает сомнений), то поставленный в заголовке вопрос можно перефразировать так: в какой степени правила речевой деятельности совпадают с правилами логики, насколько логические законы мышления обязательны при построении текстов, можно ли использовать логику как критерий правильности языковых выражений? Многочисленные примеры показывают, что языковое содержание лишь частично соответствует логике, напротив, при анализе многих речевых выражений, которые обычно носителю языка кажутся вполне “нормальными”, обнаруживаются разнообразные л о г и ч е с к и е о ш и б к и.

Одна из таких ошибок – нередко встречаемое в речи нарушение правил логики умозаключений (или рассуждений). Вот характерный пример: *Куклы любят Резо. Резо любит сказку. Дети (и взрослые) любят сказку. Значит, должны любить и Резо Габриадзе* (Лит. газета. 1983. 25 мая). Этот фрагмент текста содержит умозаключение:

*Резо любит сказку
(Все) дети любят сказку*

(Все) дети любят Резо

В строгом логическом смысле оно неправильно и не соответствует ни одному из канонических силлогизмов. Впрочем, это рассуждение неправильно и с точки зрения “здорового смысла”, ведь два человека могут чувствовать привязанность к одной и той же вещи (например, к наследству богатого родственника), однако при этом совсем необязательна привязанность друг к другу.

В приведенном отрывке можно выделить и другое умозаключение:

*(Все) куклы любят Резо
(Все) дети любят кукол*

(Все) дети любят Резо

Оно интересно тем, что формально вроде бы соответствует логическому модусу BARBARA, но вывод все-таки кажется нелогичным – достаточно вспомнить реплику одного из героев Б. Брехта: *мой друг, но не друг моих друзей*.

Что же – автор проанализированного отрывка текста простак, не знакомый с элементарными правилами аргументации? Вовсе нет. Дело в том, что, делая выводы и обобщения, автор (как часто и все мы) опирается не только на текст, но и на подтекст – ту информацию, которая известна еще до начала речевого акта или возникает в процессе коммуникации как смысловой фон передаваемых адресату речевых сообщений. Так, в нашем конкретном случае вывод *Все любят Резо* обусловлен содержащимися в подтексте пресуппозициями *Резо Габриадзе – замечательный человек; Резо Габриадзе нельзя не любить* и др.

В речевой практике широко распространены энтимемы – рассуждения со скрытыми посылками. Такие посылки называются пресуппозициями, они отражают закономерную связь явлений и, что совершенно естественно, должны быть истинными. Ср. следующий фрагмент текста: *Ласточки летают над самой землей. Скоро начнется гроза. Чтобы связать эти два предложения в одно осмысленное целое, нам необходима третья посылка: Обычно перед началом грозы ласточки летают низко над землей*. В речи, однако, встречаются и такие случаи, ко-

гда пресуппозиция неверна. Ср. фрагмент из пьесы В. Маяковского “Клоп” (сцена свадьбы):

“Присыпкин оттесняет бухгалтера от жены.

Присыпкин

Вы что же моей жене селедку в грудь тычете? Это же ж вам не клумба, а грудь, и это же вам не хризантема, а селедка!

Бухгалтер

А вы нас лососиной угощали? Угощали? Да?”

По логике Присыпкина, тыкать селедкой в грудь женщине – поступок, не достойный джентльмена, другое дело – клумба и хризантема. Но зачем, спросим мы неудачливого жениха, тыкать хризантемой в клумбу? Реплика Бухгалтера также основывается на ложной пресуппозиции, которая косвенно оправдывает неконвенциональное отношение к даме отсутствием на столе лососины. Свадьба Присыпкина, как известно, заканчивается пожаром – а может ли привести к чему-то лучшему столь наплевательское отношение к правилам аргументации?

Одна из героинь В. Астафьева поет частушку:

Я соперницу зарежу
И соперника убью...
А сама я молодая,
В Сибирь на каторгу пойду.

Как бы мы ни сочувствовали судьбе девушки, нельзя, однако, не заметить в содержании частушки изъяна: мифический соперник упоминается, скорее всего, лишь “для красного словца” – иначе мы бы должны представить себе молодца (предмет обожания героини) с весьма неординарной сексуальной ориентацией...

Иногда встречаются аутофальсифицированные выражения, одна часть которых противоречит другой. К ним относятся и п а р а д о к с ы, где логическая связность текста нарушается сознательно, часто для создания юмористического эффекта, что подтверждается следующим примером: *Зачем обезьяне трудиться, если она уже стала человеком?* (Б. Рябенкий). Эта сентенция основана на двух посылах: *Труд способен превратить обезьяну в человека* и *Обезьяна превратилась в человека*, при этом первая является скрытой. Почему же вывод *Став человеком, обезьяна должна перестать трудиться* кажется странным? Парадокс возникает потому, что первая посылка имеет для автора несколько иной смысл: *Труд способен превратить обезьяну в человека, и роль труда ограничивается только этим*. В таком случае внутренний механизм рассуждения оказывается вполне приемлемым, но рассуждение в целом логически неправильно из-за того, что одно из его фактических оснований не соответствует действительности.

Другой пример логической “подтасовки” встречаем в эпиграмме

Б. Заходера “Безвыходное положение”:

Пока не станешь генералом –
Умей довольствоваться малым.
Но кто довольствуется малым –
Навряд ли станет генералом.

Причина парадокса кроется здесь в пропуске глагола *привыкнуть*. Попробуйте его восстановить – и от парадоксальности элиграммы не останется следа.

Новый пример: *Трудно скрыть не то, что у тебя есть, а то, чего у тебя нет* (А. Самойленко). Причина этого парадокса – в неоднозначности выражений *то, что у тебя есть* и *то, чего у тебя нет*, основное значение которых – обладание или необладание предметом. Напротив, для глагола *скрыть*, который значит “сделать что-либо незаметным для кого-нибудь”, предметное значение менее характерно, – скрывают обычно факты (ср.: *Петя скрыл от родителей, что сегодня не был в школе*). Когда же знаки с разнотипным содержанием сталкиваются в одном текстовом пространстве, они начинают очень интересно взаимодействовать друг с другом. Посессивные сочетания *то, что у тебя есть* и *то, чего у тебя нет* употребляются – под влиянием глагола *скрыть* – с признаковым значением: “свойство, которым ты обладаешь”. Глагол *скрыть* – уже под влиянием посессивных конструкций – напротив, приобретает предметное значение. Надо еще учесть и то, что наречие *трудно* также реализуется в нескольких значениях: “требуются большие усилия” и “невозможно”. Так у одного и того же выражения возникает о д н о в р е м е н н о несколько значений. Представим их в несколько упрощенном виде (читатель сам легко найдет анамалию, которая вносит в содержание текста парадоксальность):

а) “Требуются большие усилия, чтобы сделать незаметными свои недостатки”.

б) “Невозможно спрятать предметы, которых у тебя нет”.

в) “Требуются большие усилия, чтобы спрятать предметы, которых у тебя нет”.

Подобные явления можно было бы назвать р е ч е в о й (нельзя путать с языковой!) п о л и с е м и е й. Например, на речевой многозначности слова *богатство* основан и такой парадокс: *Очевидно, мое богатство в том, что мне его не надо* (Ф. Раневская). Можно привести и другие примеры, в которых одна часть содержания текста противоречит другой: «Трофим Дубакин шел из магазина, в руках авоська с бутылкой “Пшеничной”, почему-то пустой» (Лит. газета. 1983. 27.07); “Потом он обещал выдать за Швейка свою сестру, которой у него не было” (Я. Гашек); “И старый ворон облетает наш дом, которого уж нет” (И. Шкляревский); “Супов и компотов мы продали в три раза больше, чем сварили” (Лит. газета. 1987. 16 дек.); “Чтобы не пограть достоинства, которого у него, правда, не было, прохиндей все

же согласился участвовать в городском кроссе” (Лит. газета. 1987. 30 сент.).

Парадоксально по своему содержанию известное стихотворение А. Вознесенского “Ироническая элегия, родившаяся в весьма скорбные минуты, когда НЕ ПИШЕТСЯ”, где речь идет о творческом кризисе автора – но если “не пишется”, то почему пишется – хотя бы и о том, что не пишется? Здесь невольно вспоминается тургеневский герой, убеждение которого состояло в том, что убеждений не существует.

Еще пример. Как-то автору этих строк (а дело было в Варшаве) попалась на глаза яркая табличка, которая висела на лесах ремонтируемого многоэтажного здания. Табличка была небольшого размера, поэтому, чтобы ее прочитывать, нужно было подойти поближе. И что же? Содержание таблички оказалось таким:

*Не подходить!
Идут ремонтные работы*

В этом случае ошибка создателей текста состоит в том, что его содержание противоречит форме. Все равно, как если бы рождественское поздравление мы написали на обрывке газеты...

Логические парадоксы часто встречаются среди фразеологизмов, роль же фразеологии как своего рода приюта для ненормативных языковых форм хорошо известна. Фразеологическое сочетание *остались одни воспоминания* означает “исчезнуть, перестать существовать”. Но если, например, высказывание *От колбасы остались одни воспоминания* понимать буквально, в соответствии с его внутренней формой (по аналогии с высказываниями типа *От дома осталась одна крыша*), то воспоминания окажутся частью колбасы.

Нарушение логики можно усмотреть и в широко распространенном в обыденной речевой практике явлении г и п е р б о л и з а ц и и – в частности, когда обобщающее местоимение не соотносится с каким-либо конкретным множеством предметов:

“– Володя, а что ты думаешь?

– Мне все понемногу не нравится.

– Ну что именно?

– Да не знаю я!” (Лит. газета. 1986. 1 янв.)

“– Дедушка Тит, а ты все знаешь?

– Всё, Афоня, я всё знаю.

– А что это, дедушка!

– А чего тебе, Афонюшка?

– А что это всё?

– А я уж позабыл, Афоня” (А. Платонов).

Одной из типичных логических ошибок в речи является нарушение закона е д и н с т в а о с н о в а н и я. Ср. высказывание: “Кто из вас, здесь сейчас сидящих, может сравниться с волей, стойкостью, упорством, последовательностью, верой в свое дело, непреклонностью этого простого парня?” (В. Голявкин). Объектами сравнения здесь являются понятия разных категорий: с одной стороны – *вы* (люди), с другой стороны – *воля, стойкость, упорство* и т.д. (качества). В этом ряду речевых явлений интересны высказывания, в которых смешиваются понятия, относящиеся к языку и к внешнему миру, например: “Были сумерки длинные, как были длинные Списки выбывших при Иоанне Четвертом” (О. Чухонцев); “И вдруг оказалось, что боль моя меньше в длину, Чем стихотворень” (А. Кушнер); “Мы кончаем беседовать на запятой” (И. Кашежева); “В том краю, куда перенес его рассказ, автомобилей не было” (Э. Хемингуэй).

Языковые выражения, в которых нарушается правило единства основания, анализируются в интересной статье проф. Б.Ю. Нормана «“Скорости оставляют позади катера?” О логике естественного языка», которая напечатана в шестом номере журнала “Русская речь” за 1996 год. Рассматривая высказывания типа *Цвет платья напоминал спелую вишню*, автор показывает их логическую неправильность: сопоставляются разнотипные понятия, а именно – признак (*цвет платья*) и предмет (*спелая вишня*). Если бы выражение было построено по правилам логики, оно бы имело вид: *Цвет платья напоминал цвет спелой вишни* или *Платье своим цветом* (или: *по цвету*) *напоминало спелую вишню*. Несмотря на очевидное смысловое противоречие, подобные языковые выражения встречаются в речи довольно часто, что и дает Б.Ю. Норману право сделать общий вывод: «У языка своя логика, свои основания для тех операций, которые производятся со знаками в речевой деятельности... Принципы формальной логики сталкиваются в языке с другими правилами – семиотики и семасиологии, синтаксиса и стилистики. Так рождается особая – нежесткая – логика языка, допускающая значительно более “мягкую” трактовку лексических множеств и операций с ними».

Высказывания типа *Цвет платья напоминал спелую вишню* возникают в результате сокращения (в данном случае – сокращения высказывания *Цвет платья напоминал цвет спелой вишни*) и отражают стремление слова (здесь – существительного *вишня*) занять в структуре предложения место поближе к его вершине – глагольному сказуемому. Это и приводит к нарушению логического правила, согласно которому, как пишет Б.Ю. Норман, “мы должны иметь дело с однородными (то есть относящимися к одному уровню обобщения) и одноплановыми (то есть относящимися к одной сфере) сущностями”.

Впрочем, обратим внимание на то, что сокращение фразы зачастую не имеет никакого отношения ни к сопоставлению, ни к противопоста-

влению, ни к перечислению, ни к обобщению. Сошлемся на конкретные примеры:

«Ежели медвежий рассказ по каким-либо причинам для “Резца” окажется негодным, пожалуйста, известите меня» (И. Соколов-Микитов) – вместо *рассказ об охоте на медведя*; “Малиной напоили? Малиной напоили” (А. Тарковский) – вместо *напоили чаем с малиной*; “По сути, эта моя Армения написана о России” (А. Битов) – вместо *книга об Армении написана о России*; “Студентка иностранных языков, она разгрызла первые романы” (Е. Рейн) – вместо *студентка факультета иностранных языков*.

Подобным же образом в высказывании *Цвет платья напоминал спелую вишню* глагол *напоминал* выражает не сопоставление, а скорее всего – отношение ассоциативности: цвет платья ассоциируется с вишней, т.е. вызывает в сознании человека образ вишни или представление о вишне. Подобные ассоциации – не такая уж редкость в нашей речи, ср.: *баритональная внешность; малиновый звон; теплым пахнет* (пример из разговорной речи).

Высказывание *Скорости летательных аппаратов оставили позади быстроходные катера*, которое представляет собой также результат упрощения, Б.Ю. Норман преобразует в логически правильное, с его точки зрения, выражение *Скорости летательных аппаратов оставили позади скорости быстроходных катеров*. Но ведь и оно по смыслу отнюдь не безупречно! Сочетание *оставить позади* употребляется здесь в несвойственном ему значении – более предпочтительным был бы такой вариант: *Скорости летательных аппаратов выше, чем скорости быстроходных катеров*.

С другой стороны, так ли беспорна логическая неправильность высказывания *Скорости летательных аппаратов оставили позади быстроходные катера*? Не идет ли здесь речь о том, что скорости летательных аппаратов столь высоки, что даже быстроходные катера остаются позади (летательных аппаратов). То есть существительное *скорости* выступает здесь не как субъект отношения, а как его причина. Подобные по структуре выражения вполне типичны для русского синтаксиса, ср. *Опоздание Ивана нарушило все наши планы*.

Вывод Б.Ю. Нормана о том, что слово, сохранившееся в результате сокращения фразы (например, *вишня* вместо *цвет вишни*), “обогащается, как бы впитывает в себя значения своих “менее удачливых коллег – исчезнувших слов”, кажется, содержит противоречие: если словоформа *вишня* в предложении *Цвет платья напоминал спелую вишню* означает *цвет вишни*, то это предложение имеет смысл *Цвет платья напоминал цвет спелой вишни* – и, таким образом, никакого нарушения логики здесь нет!

Важнейшей особенностью сокращения высказывания является то, что оно приводит к изменению его содержания, которое становится бо-

лее обобщенным. Это вполне естественно, ведь из предложения устраняется часть его лексического состава, и передаваемая информация становится менее конкретной. Именно поэтому сокращение фразы сознательно используется при дефиците информации или в ситуациях, когда в излишней детализации нет необходимости, ср.: *С вами будет говорить Зауральск*, т.е. С вами будет говорить кто-то (не могу точнее конкретизировать) из Зауральска; *Лена пошла на Петрова* – Лена пошла, чтобы принять участие в событии, к которому имеет отношение Петров / с участием Петрова.

Читатель может возразить: произнося высказывания вроде *Лена пошла на Петрова*, мы всегда имеем в виду не какое-то абстрактное “событие с участием Петрова”, а совершенно конкретную ситуацию: доклад Петрова, концерт Петрова и т.д. На что мы ответим: именно так. Но эта конкретная информация находится уже вне языкового высказывания, она обусловлена теми общими обстоятельствами общения или общими знаниями о мире, которые объединяют говорящего и слушающего.

Допустим, в разговоре о начале концертного сезона в филармонии вы, имея в виду известного пианиста, спрашиваете: *А ты пойдешь на Петрова?* В этом случае действует принцип компенсации: сокращенная форма высказывания как раз оправдана тем, что собеседник осведомлен, о каком Петрове и о каком событии с участием Петрова идет речь. И внутреннюю форму, и отчасти смысл языкового выражения в подобных случаях надо искать за пределами языка.

Компенсаторную функцию может выполнять не только речевая ситуация или энциклопедические знания партнеров по общению, но и само высказывание. В предложении *Цвет платья напоминал спелую вишню* эта функция возлагается на существительное *цвет*: употребив его однажды (как характеристику платья), говорящий определяет тему сообщения. Обычно заданная тема сохраняется или некоторое время поддерживается в течение разговора, поэтому дублирование существительного *цвет* вовсе не обязательно: умолчание здесь равнозначно подтверждению того, что говорящий не отклоняется от темы. Таким образом, набившее уже читателю оскомину высказывание *Цвет платья напоминал спелую вишню* значит: “Цвет платья напоминал по уже упомянутому признаку спелую вишню” или “Цвет платья благодаря упомянутому признаку вызывал представление о спелой вишне”.

Когда говорят о том, что естественный язык не подчиняется логике, то имеют в виду, что наша речевая деятельность, кроме правил, регулируется также правилами нарушения правил и, может быть, даже правилами нарушения правил нарушения правил. Логика же зачастую представляется скучной и примитивной наукой, не способной даже в приближении отразить многообразные нюансы интеллектуальной деятельности человека.

Но обычно лингвисты имеют в виду формальную логику, основы которой были заложены еще Аристотелем. Да, действительно, возможности традиционной аристотелевской логики для объяснения процессов речевой деятельности довольно ограничены. Но было бы упрощением и ошибкой отождествлять современную логику с логикой Аристотеля. Сегодняшняя логика включает более десятка дисциплин, которые изучают самые разнообразные сферы мыслительной деятельности, в том числе – и передачу сообщений на естественном языке. Логика изучает не только внутреннюю содержательную структуру языковых знаков разного формата (слов, предложений, текстов), но и, как, например, иллокутивная логика, особенности речевой коммуникации. Различные версии паранепротиворечивой (“воображаемой”) логики рассматривают многие традиционные логические парадоксы, например, нарушение закона исключенного третьего, как вполне нормальные явления и находят для них соответствующие логические формы. Иначе говоря, “правила семиотики, семасиологии, синтаксиса и стилистики”, которые Б.Ю. Норман считает особенностью естественных языков, отнюдь не чужды современной логике – они входят в нее составной частью, хотя и представлены в ином, более обобщенном виде.

Рассуждая от отношениях языка и логики, надо учитывать также ж а н р о е (или стилистическое) многообразие речи. Для каждого жанра существуют свои нормы правильности, они варьируются в зависимости от психологического и социального контакта говорящего и слушающего, от наличия или отсутствия зрителей, от количества потенциальных адресатов, от письменной или устной формы речи, от характера связи текста с ситуацией, от ожидаемого эффекта и др. Поскольку логика отражает, прежде всего, рациональный аспект человеческой деятельности, то вполне естественно, что в зависимости от ситуации и целей общения приоритет логических критериев деятельности меняется. Одно дело, к примеру, – убеждение, основанное на аргументации и анализе понятий, другое дело – внушение, которое осуществляется с помощью образов и представлений.

Итак, вряд ли у языка в целом есть какая-то своя особая логика. Нормы смысловой правильности варьируются в отдельных речевых жанрах (научной, деловой, публицистической, поэтической, разговорной речи), особенность же языка как целостной системы знаков, которая объединяет разные жанры, заключается в его стилистической изменчивости, в том, что он приспосабливается к обстановке речевой деятельности и позволяет логические “шалости” тем жанрам, для которых выражение и передача мыслей не является основной коммуникативной функцией. Не случайно статья Б.Ю. Нормана (с подзаголовком “О логике естественного языка”) в библиографическом указателе “Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание” (№ 9 за 1997 год) упоминается с аннотацией: “О нарушениях

логических правил в языке художественной литературы”.

“Вся жизнь моя – цепь бессвязных случайностей”, – рассуждает герой М. Горького. Но случай – лишь степень познания мира и степень самопознания. Текст может казаться нам нагромождением метафор и логических несуразиц. Но едва мы расширим кругозор, представим себе иные возможные миры, иные возможные типы мышления, иные возможные виды деятельности – бессвязный текст обретет целостность и смысловое единство. Поэтому-то отношения между языком и логикой столь сложны и трудно определимы. Не вызывает сомнений, кажется, одно: мы по-разному говорим, потому что по-разному думаем.

Рурский университет,

Бохум,

Германия





ГОВОРЯТ ПО РАДИО И С ТЕЛЕЭКРАНА*

Звучит твердо или мягко?

О.А. ЛАПТЕВА,

доктор филологических наук

2. Лексикализованное закрепление одного способа произнесения

Об этой тенденции можно говорить применительно к некоторым словам как о предпочтении одного варианта, который доминирует в речевой практике. Она сочетается обычно с первой тенденцией – расширением сферы вариативности (см. Русская речь. 1998. № 4).

Рэ или р'е?

Здесь компактную группу образуют слова с корнем *пресс*: *пресса*, *пресс-конференция*, *репрессии*, *компресс*, *экспресс*, а также *прейскурант* (с похожим корнем). Но у этих слов разные произносительные правила. Для слов *пресса*, *пресс-конференция*, *компресс*, *прейскурант* нормой предусмотрено р'е; в словах *репрессии* и *экспресс* при основном мягком варианте допускается и твердый [рэ]. Заметим, что эту непоследовательность иначе как уступкой речевой стихии не объяснить. При этом в массовом употреблении этих слов предпочтение отдается как раз твердости произношения. Мягкого варианта придерживаются

* Продолжение цикла. См.: Русская речь. 1997. №№ 4, 5; 1998. № 4.

лишь некоторые теле- и радиоведущие с отточенным, рафинированным стремлением к литературно выверенной фонетике, например, Михаил Осокин в “Сегодня вечером”. Огромная же масса произносящих устный текст говорит *пр[э]сса*: Евгений Киселев, Владимир Кара-Мурза, Сергей Адамович Ковалев, Борис Немцов, Алин Юсупов, Александр Горянов, Татьяна Парамонова, Анна Дмитриева, Сергей Ястржембский, Егор Гайдар, Георгий Сатаров и многие радио- и тележурналисты, хотя в Словаре дается предостережение: “**неправильно**”. Замечено: “Сначала прекратите трогать *пр[э]ссу* (Зеркало. Б. Немцов); “Пр[э]сса писала об этом” (МТК. “Московское время – 850”. Т. Парамонова); “Министр иностранных дел проводит *пр[э]сс-конференцию*” (А. Горянов); “В мировой *пр[э]ссе*, *пр[э]сс-служба*, *пр[э]сс-конференция*” (Итоги. Е. Киселев); “*пр[э]сс-секретарь*” (Сегодня в полночь. Вл. Кара-Мурза); “Роль *пр[э]ссы* как концентрации оппозиции интересна сама по себе” (Г. Сатаров на встрече с прессой). Уже один перечень имен говорит об общественной популярности авторов этих высказываний, которая, конечно, способствует распространению твердого, до сих пор **ненормативного** варианта. Так на коротком отрезке времени может измениться норма.

Другие похожие слова ведут себя подобным же образом: “– Если температура не спадет, делайте *компр[э]ссы*. – *Компр[э]ссы?*” (к/ф “Коля”).

Тенденция к возобладанию твердого варианта поддерживается и другими слова с *ре*, для которых норма, как правило, предусматривает **мягкий вариант** при допустимости (а в словах *берет*, *корректно*, *коррекция* – недопустимости) твердого: “Они подвергались очень большим гонениям, *р[э]пр[э]ссиям*” (Культура. “Миф Дмитрия Покровского”. Участница хора рассказывает о молоканах); “В частности, в переговорах был назван источник финансирования – *Конгр[э]сс* Соединенных Штатов” (Сегодня вечером. А. Колпаков); “Будешь платить торжеством научно-технического *прогр[э]сса*” (РР. Егор Гайдар). Из этого ряда норма предусматривает **твердый вариант** лишь для слова *стресс*. Этот вариант вписывается в общую тенденцию к твердости и одновременно согласуется с нормой: “Никаких *стр[э]ссов* не будет” (из речи Б.Н. Ельцина).

Не успевшее попасть в Орфоэпический словарь (1989 г.) *рейтинг* также подчиняется тенденции к **твердости**: “Р[э]йтинговые агентства устанавливают нам такие *р[э]йтинги*, что мы сталкиваемся с большими трудностями, выходя на рынок” (Подробности. Интервью Я. Уринсона). В эту струю входят и *корректно*, *берет* (**вопреки нормативной оценке**): “Корр[э]ктирующее взаимодействие” (к/ф Исповедь Феликса Кулла; перевод); “Это, разумеется, потребует времени, чтобы проделывать работу грамотно и *корр[э]ктно*” (Зеркало. Интервью Сергея Дубинина, председателя Центробанка); “Он всегда будет помнить об от-

ряде и хранить свой крановый б'ер'ет" (Сегодня вечером. Корр. Ведущий в той же передаче произносит б[э]р[э]т). Как видим, последнее слово находится в зоне колебания.

В слове *крем* нормой узаконены **оба варианта** как равноценные. Но его тоже охватывает тенденция к одному варианту – на этот раз мягкому. Сейчас уже мало кто, разве что немолодые дамы, произносит кр[э]м (в соответствии с французским источником): “Ух какой воздушный кр'ем!”, “Новый витаминизированный кр'ем”, “Цельный миндальный орех, покрытый сливочным кр'емом” (реклама; “Кремы – я предпочитаю наши кр'емы” (Герой дня без галстука. Г. Старовойтова).

Подобная “сшибка” противоположных тенденций, разнесенных по разным словам и группам слов, еще более усугубляется сочетанием стремления к мягкости согласного с ярко выраженным, порой утрированным аканьем и иканьем, противопоставленным даже совсем обрुсевшим словам иноязычного происхождения. Уместно вспомнить, что Ираклий Андроников в своих устных выступлениях неизменно говорит *концерт* с отчетливым *о*.

Допускаемая фонетической нормой вариативность в нашем явлении оборачивается ее расширением, но при условии лексикализации, охватывающей всё новые слова: “Дополнив ее *фр[э]сками*” (Сегодня вечером. Корреспондент рассказывает о янтарной комнате; составителям Словаря такой оборот дела даже не мог прийти в голову).

Нэ или н'е?

Слова с *не* охватываются тенденцией к твердости, соединяющей в себе два начала – общее для всех звуковых сочетаний тяготение к твердости и давнее стремление части общества к малограмотному самоприобщению к “антиллитгенции”: эта вторая (по времени – первая) тенденция как раз и охватывала слова с *не*. Вот как это происходит.

Шинэль и *фанэра* живы и в определенных кругах процветают. При имитации речи солдат в спектакле Воронежского драматического театра “Любовь по переписке” по В. Войновичу исполнители дружно говорят *шинэль* (и к нему впридачу *шасси*, с неправильным ударением). Спектакль прозвучал по Радио России. Другие случаи: “Четвертый год уж мать без сына. Бери шин[э]ль, иди домой” (Подробности. Егор Строев выступает на конференции); “– Да, вот эти вот дедушки и бабушки в синих шин[э]лях с берданками” (РР. От 1 лица. Ведущий); “Кусок фан[э]ры старенькой” (РР. Домашняя Академия. Рассказывает мастер-умелец). В слове *фланель* **допустимый твердый вариант при основном мягком** стал чуть ли не единственным и потому нормативным.

В слове *энергия* и его производных все происходит наоборот. Слово озорной ребенок, готовый на все, лишь бы не послушаться, узус действует как бы назло норме: в слове *энергия* **должен звучать твердый** –

у нас же он будет мягким!»: “Вчера Борис Бревнов отчитывался перед комиссией Минтопэн’ерго: половина всей эн’ергетики; министр топлива и эн’ергетики” (Подробности. Дм. Якушкин); “объекты эн’ергетики” (Время) – это все **вопреки норме**. Конечно, элемент осознания такого “вредительства” сводится к нулю, говорящими руководят незримые и неуловимые силы подражания друг другу и тому, что “плавает в воздухе”.

Тем не менее круг твердого варианта все расширяется: “Высокая стройная *брюн[э]тка*” (Вокруг света. Ведущий. Согласно норме, **должно звучать мягко**; “*Вся машин[э]рия*” (“Тот самый Марк Захаров”. Говорит Александр Абдулов. **Нормативно мягкое произношение**); “Новые китайцы живут в специально построенных *фешен[э]бельных* домах” (Культура. Межд. обозрение. Иннокентий Иванов о Шанхае. **Равноценны *нз* и *н’е***); “– Кто это там? – *Камердин[э]р*” (А.И. Солженицын читает “Красное колесо”. **Должно быть *н’е***); “Оно будет посвящено *ген[э]тической* природе власти в России” (Вести. Мих. Пономарев о новой книге Б. Березовского; норма так и предписывает: ***нз***); “Объявлены подробности о предстоящем *турн[э]* Майкла Джексона во Францию” (Сегодня вечером. Мих. Осокин; **это норма**). Слово *майонез* звучит в рекламе с разными, порой ненормативными гласными предударных слогов, но с неизменным **твердым *н***, как и требуется нормой.

Таким образом, из общей тенденции к твердости согласного в сочетании *не* выбилось слово *энергия*. В остальных случаях *нз* укрепляется, в том числе и путем следования норме. Разумеется, остается масса употреблений с мягким *н’е*, где никогда не возникало вопроса о твердости (ср.: *мон’ета*).

Сэ или с’е?

Здесь тоже преобладает верховенство твердости, которой охватываются слова или с непредусмотренной твердостью, или с предусмотренной в качестве варианта. Ср.: *конс[э]рвы* (А.И. Солженицын. **Твердость не предусмотрена**); из ближайшего *басс[э]йна* (Время. Возможна как вариант).

Там, где нормой диктуется твердость, она обычно остается: «Сейчас будет программа “Подробности”, тема которой никак с *с[э]ксом* не связана» (Вести. Мих. Пономарев); “Депутаты оживленно обсуждали, где можно показывать про *с[э]кс*” (Сегодня вечером. Мих. Осокин). Но иногда, вопреки рекомендациям, звучит и *с’екс*. И, конечно, обязательно произносить *с’екрет*, *с’ексот* и мн. др.

Шоссе, где *с* **должно быть твердым**, оно так и произносится, хотя звучит и просторечное “шис’с’е” (все понимают, что так нельзя). *Сервис* **должно быть с твердым**, так и звучит, но иногда слышится и мягкость – уж не под влиянием ли *сервиэ*? Ср.: “Высокое качество *с[э]рви-*

за на рынке” (реклама; а откуда з? Из *сервиса*!); “Покупайте в торговой сети Видеос’ервис” (реклама). *Бестселлер* (норма: б’естс[э]ллер) подчас слышится с мягким с’, например, у Татьяны Митковой (станет ли книга... б’естс’еллером?), а *секвестр* должен звучать и всегда звучит в мягкой огласовке.

Зэ или з’е?

Это касается, в основном, двух слов: *мизерный* и *музей*. В первом допускается и удаленное от французского ударение *ми́зерный*, хотя основное – *мизе́рный*. И хотя з **должно быть мягким**, реально звучат все возможные варианты: “Медики вынуждены проводить по 4 операции в день на устаревшем оборудовании, получая миз’ёрную зарплату” (Сегодня вечером: Корр.); “Президенты назвали товарооборот миз[э]рно малым” (Сегодня днем. Корр.).

В слове *музей* норма категорически запрещает твердое з, но оно звучит частенько, в том числе в устах старой интеллигенции: “Это имущество сейчас находится в муз[э]ях Москвы и Ленинграда и других муз[э]ях” (Сегодня в полночь). В этом слове сливаются старое интеллигентское произношение и претенциозно-мещанское, и разделить их невозможно.

Но когда под влиянием общей тенденции к твердости возникает *брэз[э]нт*, это допускается только в контексте юморески Р. Карцева: “Пирожки летели как шрапн[э]ль. Их появление сопровождалось аплодисм[э]нтами. ...в брез[э]нтовой robe”.

Сочетания *е* с другими согласными демонстрируют обе тенденции. **Ве бывает обычно с мягким согласным**, по законам русской фонетики, но почему-то в речи старой московской интеллигенции доводилось слышать *цв[э]т* с твердостью в исконно русском слове. Это прозвучало и в речи старого петербургского архитектора Серебрякова, сына Зинаиды Серебряковой, в передаче “Судьба, судьбою, о судьбе”, сделанной в 1989 году: “Цв[э]т стен очень изменился. Эта квартира была моей бабушки, урожденной Бенуа”.

Тенденция к твердости захватила слово *жюри*, которое у многих звучит как *жури*, что производит плохое впечатление. Верный ей А.И. Солженицын произносит *кофэ*: “Коф[э] пить, выпили еще раз коф[э]”. Так говорили до революции, в словаре же стоит помета **неправильно!**

А вот слово *мэрия* охватила тенденция к смягчению: “В московской мэрии” (ТВЦ).

В пересечении двух противоположных тенденций – раздолье для **неправомерной** русификации имен собственных: “Мы договорились с Жан Полем Б’ильмандо” (“Парижские тайны” Э. Рязанова); “Шоколад Альп’ин Гольд” (реклама; дедушка произносит так, а мальчик – *Альпэн*); “Соглашение между автомобильными заводами “Москвич” и

“Р’ино” (Вести. С. Дадыко); “Мы видим позор дардан’ельской операции союзников” (не удержался от мягкости А.И. Солженицын, который здесь же произносит д[э]сант); “Взять Босфор и Дардан’елы” (он же); Марии Антуан’еты” (Св. Сорокина); “С’ерж” (в переводе французской пьесы); “Мы живем в такой странной стране. У меня с Б’елой такие странные отношения” (Мих. Жванецкий на вечере в честь Беллы Ахмадулиной); “Витамин Е от Доп’иль Г’ерц (реклама); “президент Франции Франсуа Мит’иран” (Время); “С’ин’еМка-младший” (РР. Детская передача); “Д’ж’ен’ирал Моторс” (РР); “Тапёр Левон Оган’езов” (Белый попугай. Арк. Арканов), но: “Оркестр Левона Оган[э]зова” (Добрый вечер. Иг. Угольников).

Особенно “повезло” екатеринбургскому губернатору. Почти везде он – *Рос’с’иль* (в “Итогах” у Е. Киселева и корреспондентов, в “Герое дня” у Св. Сорокиной и Б. Немцова, в “Сегодня вечером” у корреспондента Марины Титовой, по Радио России и мн. др.).

Есть и обратное: Штат Т[э]хас (РР. И. Чиркова. Правильно: *Т’ехас*), в *Кар[э]лии* (о погоде Св. Прошлецова. Это совсем невозможно); *ор-тод[э]нт* (реклама зубной пасты, но всегда – *корреспонд’ент*).

Пора подвести итоги. Взятое нами явление показывает, что именно в этом звене фонетической системы совершен мощный узуальный прорыв нормы. Это больше, чем ее “либерализация” (В.К. Костомаров). Во всяком случае, ее предостережения и рекомендации тщетны. В жизни общества они практически не играют роли – но только именно в этом явлении. Примером тому служит хотя бы длительная, непрекращающаяся и безрезультатная борьба со словом *шинэль*. Это происходит потому, что для данного явления невозможно выработать строгие правила произношения: оно растянуто во времени, в русский язык входят всё новые и новые иностранные слова, и лишь две тенденции оказываются неизменно действующими, но они противоположны, и какой из них подчинится конкретное слово – неизвестно. Отсюда довольно пессимистический вывод: предвосхитить путь развития орфоэпической нормы в нашем случае невозможно. Люди учатся произношению в речевой практике друг у друга. Мы охватили здесь слова, широко представленные в реальном употреблении. Но есть и много других, заимствованных, слов, которые хотя и присутствуют в русском литературном языке, но употребляются нечасто и потому способны поставить в тупик даже урожденного москвича, всосавшего произносительную норму буквально с молоком матери.

– Ну и что же мне делать? – спросит читатель, утомленный и обескураженный пестротой представшей перед ним картины. Видимо, уповать на то, что некие ориентиры, которые мы попытались здесь представить, все же существуют. Их-то как раз уловить, осознать и применить вполне можно. Главное же – растить, развивать в себе собственное ощущение, собственное чувство языковой соразмерности и сооб-

разности. Оно позволит быть уверенным в себе. Оно – ваша реальность, отражающая реальность языка. Потому что если бы он не был соразмерен и сообразен, он превратился бы в хаотический сумбур фактов и не смог бы существовать.

С падением советского института дикторства, дикторского мастерства, с приходом к микрофону разношерстной журналистской молодежи зашаталось королевство нормы. Но оно выстоит – опираясь на гармонию языка.



“Жить надо веселее и виртуальнее!”

И.П. ЛЫСАКОВА,
доктор филологических наук,
Я.В. ЛУКИНА

В связи с интенсивным развитием в России информационных технологий и вычислительной техники в последние годы отмечается активный переход некоторых терминов из профессионального языка в общелитературное употребление. При этом они нередко приобретают добавочное значение. Ярким тому примером может служить слово *виртуальный*.

Первоначально в русском языке *виртуальный* (от лат. *virtualis* – возможный, вероятный) использовалось как термин физической науки со значением “возможный; такой, который может или должен проявиться при определенных условиях” (Современный словарь иностранных слов. М., 1993).

Затем с развитием вычислительной техники и информатики в языке специалистов получил распространение термин *виртуальный*, заимствованный из английского языка: *virtual* – фактический, действительный; возможный (Современный англо-русский словарь по вычислительной технике. Сост. С. Орлов. М., 1996). Специализированные словари отмечают ряд терминологических сочетаний: *виртуальный адрес*, *виртуальный режим*, *виртуальное пространство*, *виртуальная память*, *виртуальная сеть* и другие (См., напр.: Ершов А.П. и др. Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники. М., 1991).

Однако данные словари не содержат толкования самого слова *виртуальный*, а разъясняют только терминологические сочетания с ним. Так, *виртуальная реальность* толкуется как “искусственная реальность” (Современный англо-русский словарь по вычислительной технике. М., 1996).

В словарях новых слов и в последних толковых словарях неологизм *виртуальный* также еще не зафиксирован. Однако данные терминологических словарей по информатике и вычислительной технике, контекстно-функциональный анализ материалов современной прессы позволяют определить основное значение слова *виртуальный* как “искусственный, смоделированный, представленный в виде модели с помощью компьютера или других электронных устройств”.

Приведем примеры: «Самым впечатляющим новшеством является ...*виртуальное путешествие* в античный Рим, осуществить которое можно посредством сети “Интернет”» (СПб. ведомости. 1997. 22 апр.);

“*Виртуальный мальчи*. Знакомьтесь с последним увлечением Японии... Игрушка... представляет собой конструкцию, на миниатюрном экране которой приблизительно 2 недели живет симпатичный зверек” (Космополитен. 1997. Сент.); “...Вы видели так называемый шлем *виртуальной реальности*, оборудованный стереонаушниками и двумя миниатюрными камерами, которые отслеживают движение глаз человека” (АиФ. 1997. № 43).

Данное заимствование в ряде случаев, расширив свою семантику, приобретает переносное значение: “иллюзорный, нереальный, выдуманный”, которое часто сопровождается определенной окраской: “Чего корячиться и строить из себя новых русских? Применительно к нам это весьма относительное и очень *виртуальное понятие*” (МК. 1997. 11 апр.); «“Агата” предлагает подростку свой, *виртуальный мир образов*, обладающий для него огромной притягательной силой. Многим гинсайдерам даже не обязательно вникать в смысл песен – им достаточно просто “вариться” в образах. Достаточно самой ауры» (АиФ. 1997. № 45); «Как с помощью гривны, этой, как ее метко окрестили, “*виртуальной валюты*” (по аналогии с *виртуальной реальностью* – компьютерными изображениями, которые как две капли воды похожи на свои материальные прототипы, но в реальности не существуют)... оздоровить экономику страны?» (СПб. ведомости. 1996. 20 нояб.).

О широком распространении слова *виртуальный* в общелитературном употреблении свидетельствует его использование в заголовках газетных статей, иногда в неожиданных сочетаниях (видимо, для привлечения внимания читателей): “*виртуальная игрушка*”, “агент *виртуального влияния*”, “*виртуальное братство*”, “*виртуальный технар* ищет работу”, “мир прекрасный, виртуальный, только руку протяни!”.

Небезынтересно отметить, что данное слово, являясь относительным прилагательным с основным значением “искусственный, смоделированный”, встретилось в форме сравнительной степени, где оно приобрело значение “свободный, раскованный”: “Жить надо веселее и *виртуальнее!*” (МК. 1997. 5 нояб.).

Таким образом, приведенные примеры показывают, что слово *виртуальный* стало активно употребляться в современном русском литературном языке со второй половины 90-х годов.

Разнообразие контекстов и частые случаи переносного употребления этого слова, свидетельствующие о его богатых семантических возможностях, позволяют предположить, что оно войдет в активный фонд лексической системы современного русского языка.

Санкт-Петербург

Как их называть?

Эр. ХАН-ПИРА,

кандидат филологических наук

Вот уже несколько лет, как в государственных вузах появились студенты, полностью оплачивающие свое обучение. В некоторых вузах из них образуют академические группы. Возникла проблема номинации (называния) этих студентов и групп.

Противопоставление двух форм обучения – бесплатного и платного привело к появлению в речи словосочетания *платные студенты*, породившего по закону экономии языковых средств универб *платники*.

Ничего ненормативного в соединении *платный* со *студент* нет. Среди лексических значений слова *платный* есть и такое: “Пользующийся чем-либо за плату, вносящий плату за что-либо. *Платный пассажир*” (“Словарь русского языка” в 4-х томах). Интересно, что антонимичность пары *бесплатное обучение* – *платное обучение* не породила антонима к словосочетанию *платные студенты* и к слову *платники*, т.е. нет *бесплатных студентов* и *бесплатников*, хотя никаких препятствий этому со стороны лексико-семантической нормы нет. И если сбудется прогноз одного из вице-премьеров и платная форма обучения в вузах станет ведущей, и бесплатные студенты окажутся в меньшинстве (ср. дореволюционное *своекоштные студенты* и *казеннокоштные студенты*), тогда появится нужда в их назывании. И рядом с *бесплатные студенты* тут же появится универб *бесплатники*.

Иное дело – еще одно название для платных студентов – *коммерческие студенты*. *Коммерческий* так толкуется в четырехтомном “Словаре русского языка” (т. 2, 1982):

“1. Прил., к коммерции; торговый. *Коммерческое предприятие. Коммерческая сделка. Коммерческая стоимость*. 2. Относящийся к торговле без карточек по повышенным ценам при карточной системе снабжения. *Коммерческая торговля. Коммерческие цены*”. Далее словарь приводит устойчивые словосочетания, в которых есть это слово: *коммерческий директор, коммерческая скорость, коммерческий суд* (в дореволюционной России), *коммерческое училище* (тогда же), *коммерческий флот* (т.е. торговый, не военный). В “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова (далее ТСУ) приведено еще одно устойчивое и ныне забытое словосочетание *коммерческая игра* с пояснением: “(в карты, в противоп. азартным) – игра, в которой выигрыш и проигрыш зависят не только от случая, но и от расчета”. Четырехтомный “Словарь русского языка” так поясняет словосочетание *коммерческая*

скорость: “показатель эксплуатационной работы транспорта, средняя скорость движения”.

В словосочетаниях *коммерческое предприятие, коммерческая сделка, тайна, стоимость* слово *коммерческий* можно заменить другим – *торговый*. То же самое и в сочетаниях *коммерческое училище, коммерческий суд, директор, флот*. Но в словосочетаниях *коммерческая скорость, коммерческая игра* такой замены сделать нельзя. Здесь *коммерческий* имеет несвободные лексические значения (т.е. такие, которые существуют у данного слова лишь в сочетании со словами *скорость* (ср. *крейсерская скорость*) и *игра*). По-моему, в словосочетаниях *коммерческая торговля, коммерческие цены, коммерческий магазин* слово *коммерческий* тоже имеет несвободное лексическое значение. Любопытно изменения в показе этого значения в словарях. Первый его замечает ТСУ: “*Прилагательное*, по знач. связанное с торговлей нормированными продуктами по повышенным ценам без карточек (новое). *Коммерческий магазин. По коммерческим ценам*”. Значение возникло в советское время. Словарь упоминает только торговлю продуктами (продовольственными товарами). Среди приведенных в словарной статье фразеологизмов нет ни одного с этим словом в этом значении. Как мы уже видели, “Словарь русского языка” тоже связывает коммерческую торговлю с существованием карточной системы снабжения, опуская упоминание о продуктах.

Первый том ТСУ был сдан в производство в 1933 г., вышел в свет в 1935. Карточную систему отменили в том же году. И ввели вновь во время войны. В 1944 г. открылись коммерческие магазины. “Словарь современного русского литературного языка” в 5-м томе, вышедшем в 1956 г., отмечает лишь одно значение слова *коммерческий*. Зато в разделе словарной статьи, отведенном устойчивым словосочетаниям, находим: “*Коммерческая торговля*. Один из видов государственной торговли в условиях карточной системы снабжения населения; свободная продажа населению товаров по повышенным ценам. *Коммерческая цена*. Повышенная цена на товар, продаваемый в порядке коммерческой торговли”. Видимо, это более отвечает языковому статусу этих словосочетаний, лексическому значению слова *коммерческий*, которое оно имеет в их составе, ср. невозможность заменить здесь *коммерческий* на *торговый* (*торговая торговля, торговая цена*). Правда, смущает явный круг в определении (или, как еще говорят логики, “порочный круг”, *circulus vitiosus*): в одном определении одно понятие определяется через второе, а в другом – второе через первое.

“Толковый словарь русского языка” С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1992) представляет как одно из значений слова *коммерческий* – “относящийся к торговле по повышенным ценам” и иллюстрирует примером: *коммерческие цены*. То же самое было и в 21-м издании “Словаря русского языка” С.И. Ожегова (1989). А вот в 13-м издании (1981)

читаем: “При существовании карточной системы снабжения: относящийся к торговле по повышенным ценам. *Коммерческий магазин. Коммерческие цены*”. Итак, для семнадцатитомного, четырехтомного и ожеговского (1981) словарей *коммерческая торговля, коммерческие цены, коммерческий магазин* – и с т о р и з м ы, как и сама карточная система.

В конце 80-х годов вновь появляются *коммерческая торговля, коммерческие магазины* (на сленге – *комки*) с их коммерческими ценами. И ожеговский словарь (1989 г.) снимает упоминание о карточной системе. В нынешних же рыночных условиях, при существовании свободных цен, нет уже ни коммерческой торговли, ни коммерческих цен и магазинов. Все эти реалии недавнего прошлого исчезли, а их названия вновь стали историзмами. *Коммерческий магазин, коммерческие цены* были неологизмами-советизмами в то время, когда издавался 1-й том ТСУ, как и название другой реалии, но дожившей до наших дней: *коммунальная квартира* (в обиходно-разговорном стиле – *коммуналка*). Удивительно, но факт: ТСУ не заметил (или ему не позволили заметить) этого словосочетания.

Вернемся к словосочетанию *коммерческие студенты* – синониму к *платные студенты*. Человек стал студентом в итоге совершения коммерческого акта (купли-продажи), коммерческой (торговой) сделки: он заплатил (или заплатили за него какое-нибудь учреждение или еще какая-то организация) за возможность стать студентом. Полагаю, *коммерческий* получило здесь метонимическое значение: название результата по названию действия. Думаю, что *коммерческий студент* в словарной статье должен находиться в разделе фразеологизмов вместе с *коммерческая группа* (академическая группа, состоящая из коммерческих студентов), *коммерческое отделение* (отделение факультета, предназначенное для обучения коммерческих студентов). Коммерческими называют и целиком вузы, в которых есть только платная форма обучения (например, читатель “Известий” сообщает, что он закончил коммерческий институт, но теперь возник вопрос о признании его диплома дипломом).

Существует и третье название платных студентов – *контрактные студенты, контрактники* (кстати, ни один толковый словарь еще не знает слова *контрактник*, в ТСУ и семнадцатитомном есть *контрактант*, даже “Орфографический словарь” не фиксирует слова *контрактник*. Что до *контрактанта*, то это слово мотивировано основой слова *контракция*).

Наконец, бытует и четвертое название платных студентов – *договорники*. Видимо, появление этого названия мотивировано тем, что эти студенты были приняты на договорных началах. Не исключено, что сперва таких студентов именовали *договорные студенты*. А потом под действием закона экономии языковых средств (или, как пояснял

профессор Е.Д. Поливанов, из-за “обыкновенной лени”) очень скоро стали называть *договорники*. При этом сотрудники вузовской администрации, а зачастую и преподаватели произносят это слово с неправильным ударением *договорни́к, договорники́*, хотя ни один словарь (в том числе “Орфоэпический словарь русского языка”) даже не упоминает такого варианта ударения в этом слове, т.е. авторам этих словарей, наверное, не приходилось и слышать такого акцентного варианта. А вот прилагательное *договорный* имеет акцентный вариант *договорно́й*, однако “Орфоэпический словарь” его не рекомендует. Возможно, именно этот акцентный вариант прилагательного способствовал появлению странного ударения в существительном (ср. *диплом–дипло́мник, контракт–контра́ктник, отказ–отка́зник, десант–деса́нтник, плен–плё́нник, залог–зало́жник*).

Договорник отсутствует в ТСУ, во всех других толковых словарях слово истолковано так: “нештатный работник, работающий по договору” (четырёхтомный), “работник, выполняющий работу по договору” (словарь Ожегова, Шведовой), “тот, кто работает внештатно, по договору” (2-е изд. семнадцатитомного).

Договорник получило в современной речи (не в языке еще) второе значение: “студент, принятый в вуз по договору, предусматривающему платную форму обучения”.

Платные студенты, платники, коммерческие студенты, контрактные студенты, контрактники, договорники – абсолютные синонимы, принадлежащие к подклассу (подтипу) денотативных: они называют одну и ту же реалию. Их лексические значения представляют собой тождественные понятия, т.е. понятия, у которых совпадают объемы, но различается содержание, ср. *стеганка, ватник, телогрейка; впопыхах и второпях; губчатый энцефалит и коровье бешенство*.

Как сказал академик Ю.Д. Апресян, такие синонимы позволяют мыслить объект называния по-разному.

Язык прессы

«Приоритет» и «альтернатива»

Л. Н. ДРОВНИКОВА,

кандидат филологических наук

В потоке самой разной информации, интервью, комментариев, выступлений различных политических деятелей в средствах массовой информации придирчивый глаз внимательного читателя нет-нет да и выхватит какую-нибудь языковую вольность.

Рассмотрим некоторые семантические сдвиги в словах, широко употребляющихся в современной публицистике.

Приоритет

В словаре Д.Н. Ушакова: от латин. *prioritas* книжн. **мн. нет.** (подчеркнуто нами. – Л.Д.). Первенство, первое место в открытии, формулировке какой-н. идеи, преимущественное право на что-н.

Однако ныне у слова *приоритет* появляются новые значения:

1. “Основная задача”, “главная задача”, “основное направление”, “главное направление”. Возможность такого употребления – от значения “первоочередной”, “первым номером”: “Основные же 10 обобщенных приоритетов научно-технического развития России общеизвестны и очень расплывчаты” (Лит. газета. 1996. 6 нояб.); “Предоставить право сообществу ученых установить приоритеты” (Лит. газета. 1997. 29 янв.); “В ходе заседания рабочей группы на эту тему были выработаны следующие приоритеты” (Лит. газета. 1997. 9 июля);

2. “главные интересы”: “Приоритеты Любимова во взаимоотношениях с Достоевским практически не меняются” (Известия. 1996. 24 апр.);

3. “коммерческие интересы”: “Не может государственная компания иметь коммерческие приоритеты” (Лит. газета. 1997. 19 февр.);

4. “преимущество”, “преимущества”: “...ни само постановление, ни правила движения не предусматривают особых приоритетов на дорогах” (Известия. 1997. 22 нояб.); “Они... обеспечивают государственный контроль над оборотом земли, гарантируют приоритеты крестьянина на земельном рынке” (Известия. 1997. 26 сент.).

Возможность таких сдвигов в значении обусловлена семантикой слова *приоритет* – “первый”, “первоочередной”, “первенство” – и возможностью расширения значения. Одно из новых значений уже дает Малый академический словарь (“Словарь русского языка” в 4-х томах, под ред. А.П. Евгеньевой): “Преобладающее, первенствующее значение чего-л.”, приводя пример: “Приоритет общесоюзного закона”. Современное же речевое использование слова, как можно убедиться на приведенных примерах, осуществляется в ином лексическом окружении. Встречается также употребление слова *приоритет* в значении “задача”, “установка”, “линия”, “курс”: “Россия для вас, как и многих парламентских коллег, стоит где-то на третьем-четвертом месте среди приоритетов” (Лит. газета. 1997. 9 июля); “Определили бастующие и политические приоритеты – поддержали демократические перемены в стране” (Известия. 1997. 11 окт.); “Заявление этих приоритетов рассчитано на дискуссию в выработке концепции реформы в правоохранительной системе” (Известия. 1997. 19 нояб.).

Изменение семантики приводит к появлению новых возможностей сочетаемости слова *приоритет*, которые исключались значением “первенство, первое место в открытии”: “К тому же сразу почувствовали, что приоритетом номер один на долгие годы является постсоветское пространство” (Известия. 1996. 10 янв.); “Ни само постановление, ни правила движения не предусматривают особых приоритетов на дороге” (Известия. 1996. 22 нояб.); “В-седьмых, последний приоритет по порядку, но не по значимости – судебная система” (Известия. 1997. 19 нояб.).

Употребление слова *приоритет* с определениями *главный*, *особый*, *номер один* свидетельствует о забвении исконного значения слова и функционировании его в значениях “задача”, “направление”, “установка” и под., и даже “предпочтение”.

Новое явление в современном речевом употреблении – использование этого существительного в форме множественного числа – *приоритеты*, чего не предполагала семантика слова. Очевидно, изменение значения привело к формальному сдвигу: “...точнее определиться с приоритетами” (Известия. 1992. 7 янв.); “Дело в принципиальном выборе приоритетов” (Известия. 1996. 24 янв.); “...надо очень четко выбрать приоритеты, решая, что следует сохранить” (Лит. газета. 1996. 21 авг.); “...стоит на третьем-четвертом месте среди приоритетов” (Лит. газета. 1997. 9 июля).

Новая семантика, новое лексическое окружение и новые грамматические особенности (употребление во множественном числе) слова свидетельствуют о новом явлении в языке, и констатация этого явления в нормативном словаре – уже дело времени.

Альтернатива

В “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова: “*Альтернатива* (от лат. *alternus* – попеременный), книжн. Выбор одного из двух единственно возможных решений”. В семантике слова *альтернатива* уже есть значение “другой” (лат. *alter* – одно из двух), поэтому ошибочно сочетание “другая альтернатива” (можно считать: *альтернатива* – уже “другая”, “одна из двух”): “Кажется, у меня нет другой альтернативы, не так ли?” (Чейз. Запах золота. Перевод Н. Ярош); “Но если вы думаете, что другой альтернативы нет...” (там же); “...другой альтернативы заведение не предусматривает” (Хмелевская. Две головы и одна нога. Перевод Н. Селивановой); “У человечества нет другой альтернативы, кроме перестройки всей экономической жизни в соответствии с экологическими императивами” (Лит. газета. 1997. 29 янв.); “...если при всем богатстве выбора другой альтернативы докладчику нет” (Известия. 1993. 27 нояб.).

Отмечено и такое употребление: “существуют две альтернативы” (Радио России. 1992. 14 апр.).

Очевидно, что во всех этих случаях отражена десемантизация слова *альтернатива*, утрата первоначального значения (“один из двух”, “необходимость выбора одного из двух”) и появление нового – “решение”, “выбор”, “возможность” (последнее чаще всего). Путь изменения значения понятен: необходимость выбора из двух решений, возможностей – само *решение*, *возможность*.

Очевидно, такое употребление не может быть рекомендовано: носитель языка, владеющий литературной нормой, еще “узнает” в словах *альтернатива*, *альтруизм* составную часть *альтер* (один из двух), имеющую значение “другой”.

Встречаются и речевые казусы. Так, в рекламе, использующей название фирмы “Альтернатива”, на наш взгляд, проявлена неосторожность в употреблении этого слова. Говоря «Другой “Альтернативы” нет», авторы имеют в виду, что нет другой такой фирмы. И если бы текст не произносился, а был написан, то не было бы и впечатления ошибки: название фирмы дается в кавычках. Но в устной речи не “звучат” кавычки, показывающие, что речь идет не об альтернативе, а об “Альтернативе”. Конечно, авторы рекламы об этом не подумали.

Владивосток

Язык прессы

О ЛЮБВИ К “ОСОБЫМ” СЛОВАМ

Н.В. МУРАВЬЕВА,
кандидат филологических наук

Наша речь – не замкнутое пространство. В нее постоянно вливается самая разная лексика, в том числе жаргонизмы, которые всегда привлекали носителей языка – не всех, конечно, – свободой от литературной нормы, оригинальностью, грубоватым остроумием и лихостью. Поэтому, когда газеты стали свободно изъясняться обо всем, дорога в общий язык для жаргонизмов оказалась широко открытой:

“Но на всем (о музыкальном диске. – Н.М.) лежит печать *халявы* и какой-то необязательности” (Сегодня); “Купить студенческий проездной *на халяву* теперь не удастся” (МК); “Молодец и Немов. Ему не удалось блеснуть в многоборье, но когда началась *разборка* в отдельных видах, превзошел всех в вольных упражнениях и увез-таки домой золотую награду” (Российские вести); “Сеул, напротив, Москву *употребляет* грамотно и с удовольствием, добиваясь для себя видимых и ощутимых достижений” (Известия); “Продолжим сами: страна после введения драконовских мер больше *не поимела*. *Наварили* на античелночном постановлении пока только коррумпированные таможенники” (МК); “К обеду – бутылка вина, остальной *кир*, если желаешь, за свои” (Мегаполис-Экспресс); «До этого уровня еще далеко, и во многом он зависит от того, как часто ты будешь *светиться* на экране, светских *тусовках* и т.д. Ведь каждый, кто хочет добиться большой известности у народа, должен быть *засвечен*, как пленка “Кодак” при проявке. Даже Кобзон должен регулярно *светиться*»; “А нормальная, живая, здоровая музыка не *хилает*”; “Не беда, если вспомнить, что двадцать лет назад бюджет у фильма был всего семь миллионов. А народ до сих пор прет в кинотеатры, как *подорванный*” (МК); “Ребята собрались и *нарулили* хором двенадцать баллад, большинство из которых сочинил Сергей Трофимов” (Веч. Москва).

Так говорят журналисты, а не герои их материалов. При этом жаргонизмы все реже поясняются в тексте, все чаще употребляются без кавычек, а это означает, что многие из них уже входят в речевой обиход. Характерно, что газетчики заимствуют слова и выражения, главным образом, из уголовного аргю, хотя приведенные примеры – вовсе не из криминальной хроники. Кстати, в газетах, издающихся в местах лишения свободы, подобная лексика отсутствует.

Журналисты, которые пользуются жаргоном, обычно говорят: “Это же такие яркие, сильные слова!” Но вот вопрос: кому нужна “выразительность”, почерпнутая на дне, в кругах деклассированных элементов?



Библейские фразеологизмы*

Опыт словаря

Л.М. ГРАНОВСКАЯ,
доктор филологических наук

Изливать душу

Буквально означает: “исповедаться, рассказать о самом сокровенном”. В Первой книге Царств говорится, что бездетная Анна молилась в Силоме о ниспослании ей сына, которого она обещала посвятить Богу.

“И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я – жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом” (1, 13–15).

Козел отпущения (искупления)

Употребляется в значении: “человек, несущий ответственность за чужие вину и прегрешения”, “лицо, которому достается за чужие грехи” (Михельсон М.И. Русская мысль и речь. М., 1997. Т. 1).

В Третьей книге Моисеевой (Левит) говорится, что Бог велел входить первосвященнику Аарону в святилище “с тельцем в жертву за грех и с овном во всесожжение” (16, 3). “И возьмет двух козлов (...) И бросит Аарон о обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения” (16, 7–8).

Одного из козлов первосвященник приносил в жертву для искупления, а другого отправлял с нарочным в пустыню. Священники возлагали на жертвенное животное руки, оставляя на нем все грехи и принося животное Богу с великим покаянием. Считалось, что “козел отпущения” унесет с собой грехи народа: “И понесет козел на себе все беззакония в землю непроходимую” (16, 22).

Известен также искупительный обряд за убийство, совершенное

* Окончание. Начало см.: Русская речь. 1998. №№ 1–4.

где-либо в деревне, селении или городском квартале неизвестным лицом. Тогда убивали телицу не бывшую под ярмом, на необработанной земле, омывали над ней руки и клялись в непричастности к убийству. Этот фразеологизм довольно частотен в речи писателей, а также в быту: "[Дипломат]: Все ищите козла отпущения, вместо того, чтобы прямо и честно признать, что предмет вашего поклонения не заслужил сейчас ничего лучшего, как немецкого фельдфебеля" (Булгаков С.Н. На пиру богов); «Арендт не устраивала легкая для понимания и имевшая широкое хождение теория "козла отпущения". Дескать, жертва выбрана произвольно и в этом смысле невиновна» (Ознобкина Е. Начало совершилось, человек сотворен был... // Новый мир. 1997. № 5).

Прилепить (прильпне) язык к гортани

Употребляется в значении: "потерять дар речи, онеметь": "Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей и Ты свел меня к персти смертной" (Псалом 21, 16); "И язык твой Я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь и не будешь обличителем их, ибо они – мятежный дом" (Книга пророка Иезекииля. 3, 26); "Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего" (Псалом 136, 6).

Это выражение встречается и в художественной литературе: "– [Увидев Жуковского], я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука, как говорится, прильпне язык к гортани (Тургенев И.С. Заметки); "[Писатель]: Прилипни язык к гортани моей, если стану хулить и шерамурствовать вслед за большевиками" (Булгаков С.Н. На пиру богов).

В дни же оны

Употребляется, когда говорят о происшествиях и событиях очень далекого прошлого: "Во дни же оны прииде Иоанн Креститель", – читаем мы в Евангелии от Матфея. Здесь это выражение может означать то время, когда Иисус жил еще в Назарете.

В оные дни после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные

А.К. Толстой

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лице свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города

Н. Гумилев

“Недавно автор этих строк также выбрался после десятилетнего отсутствия в Москву и направил стопы в редакцию глубоко уважаемого им журнала, чьи тиражи во времена оные исчислялись миллионами, а иные публикации становились общественно-литературным событием” (Валерий Сердюченко. Человек с пером). “Точь-в-точь так же тов. Кричевский во времена оны тащил нас назад от тактики-плана к тактике-процессу” (В.И. Ленин).

Вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона

И. Бродский

Ловец человеков

Иисус встретил двух братьев-рыбаков Симона (впоследствии – ап. Петра) и Андрея и сказал им: “Идите за Мною, и Я сделаю Вас ловцами человеков” (4, 19).

Ловцами человеков Иисус называл своих апостолов, разъясняющих учение Христа, т.е. своего рода рыбаков, а людей представлял рыбами. Рыба – мистический символ самого Христа, ибо начальные буквы греческих слов: *Иисус Христос Сын Божий Спаситель* обозначают слово *рыба*. Григорий Богослов проповедовал, что *Иисус захотел стать ловцом человеков*, чтобы из бездны извлечь человека, плавающего в зыбких и опасных водах настоящей жизни. Св. Павлин Ноланский называл Христа хлебом истинным и рыбою из живой воды (Успенский П. Книга бытия моего. СПб., 1900. Ч. 6). Древние христианские ваятели и резчики изображали на драгоценных камнях церковь в виде мореходного судна, стоящего на спине плывущей рыбы. Здесь рыба – Христос – основатель церкви.

Звезда Вифлеемская

Употребляется в значении “знамение”. По преданию, Вифлеемская звезда появилась с рождением младенца Иисуса Христа: “Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят: Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему” (Евангелие от Матфея. 2, 1–2).

Волхвы шли с востока на запад. Звезда, ярко сиявшая среди других, возвестила о рождении Христа. Волхвы по приказанию Ирода пошли поклониться младенцу, и звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними и остановилась только тогда, когда они остановились перед входом в пещеру, а затем вошли в нее.

Сведения о путеводной звезде скупы, ибо главным в повествовании

была не она, а указание на то место, где находился младенец Христос. Что же это была за звезда? Существует несколько предположений. Первое: это была Венера; второе – это было соединение планет – Юпитера и Сатурна (предположение Кеплера). Возможно, что Вифлеемская звезда была звездой “временного блеска”. Такие звезды изредка появляются и, разгораясь ярким блеском, видны даже днем. У читателей Евангелия складывается впечатление, что Вифлеемская звезда была, скорее, каким-то необыкновенным светом, божьей благодатью, подобная огненному столбу, который некогда провел сынов Израилевых через пустыню. Находки астрологических архивов в Вавилонии (Сиппаре) подтверждают предание, бытовавшее в Сирии в конце I в. н.э., о вспышке новой звезды (см. Об этом Бобринский А. Астрономия Библии. Париж, 1928).

“Но вот на небе уже всходила тогда Вифлеемская звезда, и на нее взирали ученые и неученые, волхвы и пастухи, рождалась в мире великая радость, радость навеки” (Булгаков С.Н. Религия человекобожия в русской революции // Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991).

О, тень, о сладостная тень,
Стань вифлеемскою звездою,
Алмазом на ее груди –
И к дому бога насведи!

И.Ф. Анненский

Не хлебом единым

Смысл этого выражения сводится к тому, что человек должен заботиться не только о материальном, но и о духовном бытии: “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих” (Евангелие от Матфея. 4, 4); “Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек” (Пятая книга Моисеева. Второзаконие. 8, 3).

Это выражение вошло в языки из евангельского рассказа об искушениях Христа в пустыне: «И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”».

По мнению С.Н. Булгакова, “ложь сатаны состояла лишь в том, что божественную мощь он советовал использовать для временных целей темного смертного бытия, как бы превратить ее в орудие магии и колдовства. Но Сын Человеческий пришел не за тем, чтобы с наибольшим удобством устроить нас в этой темной, греховной и смертной жизни, но

чтобы спасти от нее, победить ее в самих основах”; “...человек живет не единым хлебом, как думают многие, но всяким словом Божиим” (Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. М., 1992).

“Не о едином хлебе жив будет человек. Это был местный нотариус Анличенко, кладезь, можно сказать, фонтан неиссякаемый питьевых и карточных прибауток” (Волконский С.М. Последний день. Берлин, 1925); “Неунывающий, бесстрашный идеалист, среди телесной нужды и духовной мрази он [Федоров] всем существом своим провозглашал, что не о хлебе едином жив человек...” (Волконский С.М. Мои воспоминания. М., 1992); «[Жорж Занд] верила в личность человеческую безусловно (...) возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою – в каждом своем произведении (...) И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в ее время, в такой силе понимавшего, что “не единым хлебом бывает жив человек”» (Достоевский Ф.М. Дневник. 1876 г.); “– Я знаю, что я должен работать, чтобы успокоить мать, оплатить тебе, и детей не оставить такими нищими, каким я был. Графине Марье хотелось сказать ему, что не о едином хлебе сыт будет человек, что он слишком много приписывает важности этим делам, но это... было бесполезно” (Л. Толстой. Война и мир).

*Азербайджан,
Баку*

О Житии Василия Нового

Т. В. МИХАЙЛЫЧЕВА

В церковной литературе последних лет можно встретить брошюру, озаглавленную “Суд за гробом, или мытарства преподобной Феодоры”. Книга эта представляет собой перепечатку такого же издания начала века. Подзаголовок текста гласит: “заимствовано из разных душеполезных книг, а также рукописей, хранящихся в библиотеках свят. Афонской горы”. Главным источником этого произведения является Житие преподобного Василия Нового, о нем и пойдет речь в этой статье.

Житие Василия Нового относится к числу тех древних литературных памятников, о которых современному читателю известно очень мало. Между тем произведение это было столь популярно на Руси со времени появления его древнейшего перевода с греческого языка на церковнославянский в конце XI века, что переписывалось и, позднее, печаталось на протяжении всего этого времени вплоть до начала XX века. Особенно почиталось оно в старообрядческой среде благодаря своей эсхатологической тематике (*эсхатология* – учение о конце света и загробной жизни).

Житие было написано, как это следует из его заглавия, учеником св. Василия монахом Григорием в Константинополе, жившим, как можно понять из текста Жития, во второй половине X века. Поэтому значительную часть произведения занимают разнообразные истории из жизни византийской столицы, а также эсхатологические предсказания и видения автора, в которых нашли отражение представления восточных христиан о загробной жизни.

Почти все уголки византийского мира имели своих местных святых, в житиях которых отражались культурные особенности этих районов. Преподобный Василий и был таким местнотчимым святым. Довольно необычным для литературы такого типа является тот факт, что в Житии св. Василия отсутствуют традиционные известия о рождении, детстве и юности, об обстоятельствах принятия им монашества, о его жизни до прихода в Константинополь. Миссия святого становится известной с момента его появления в столице. Интересной и необычной является и авторская манера Григория, который, описывая происходившие события и чудеса, свершаемые святым, не забывал сообщать некоторые подробности и о себе самом (о своем духовном брате Юлиане, о своем здоровье, о том, что он не любит чеснок и т.д.). От этого даже те события, которые происходили до встречи Григория и Василия и ученичества первого, приобретают особую достоверность.

Среди действующих лиц Жития важное место занимают реальные

исторические личности, например, патрикий Самона (*наракимомен* – главный спальничий при императорах), по происхождению араб, к которому для допроса по подозрению в шпионаже доставили святого Василия. Это событие произошло, как сообщает Житие, на десятом году царствования императоров Льва и Александра, т.е. в 896 году. Причины, заставившие Василия покинуть далекую уединенную пустыню в Малой Азии, где он вел жизнь отшельника, остаются неизвестными. Начальная часть Жития строится как мученичество: за отказ открыть свое имя “немилостивый зверь” Самона подвергает Василия жестоким пыткам и бросает в море. Примечательно, что у Василия не было никаких видимых причин отказываться назвать себя, и его поведение, очевидно, объясняется желанием пострадать от мучителей. Однако чудесным образом дельфины выносят святого на берег, и он оказывается у ворот Константинополя.

Следующий эпизод Жития описывает восстание Константина Дуки в 913 году, целью которого было свергнуть регента малолетнего Константина Багрянородного патриарха Николая и захватить власть, сделавшись соправителем Константина. Это восстание засвидетельствовано византийскими историческими хрониками, в частности, Продолжателем Феофана, анонимной хроникой, составленной в X веке. Во время мятежа Дуки проявляется провидческий дар святого, который предсказывает смерть двум братьям знатного рода в случае, если они присоединятся к сторонникам мятежника. Этот дар позволил ему открыть замыслы магистра Саронита, который также пытался организовать государственный переворот во времена царствования Романа I Лакапина (920–944). Когда Василий попробовал заставить вельможу отказаться от его честолюбивых планов, Саронит, подобно Самоне, пришел в ярость и подверг святого жестокому мучению. Однако в наказание за дерзость Саронит внезапно заболел и умер. Перед смертью он увидел вещий сон, который открыл ему пагубность жестокого обращения со старцем.

Св. Василий попал и в царский дворец, где предсказал императрице Елене рождение сына, будущего императора Романа II (родился в 938 году, так что это предсказание Василия могло быть сделано в середине 930-х гг.).

Интересно, что практически все эти эпизоды, предполагающие знание именно византийской истории, сохраняются в древнейшем церковнославянском переводе и, значит, они могли интересовать и славянского читателя. Однако в Житии есть рассказ о событии, которое хорошо было знакомо древнерусскому книжнику и по другим источникам, поскольку касалось русской истории.

Речь идет о военном походе россов, возглавляемых князем Игорем, на Византию в 941 году, известие о котором есть в Повести временных лет. Этот поход был для россов неудачным, их суда были встречены

противником, который применил знаменитый греческий огонь. Немногие из войска нападавших возвратились домой. Сведения об этом походе россос содержатся и в византийских источниках, в частности, в сочинении историка X века Льва Диакона, причем, по мнению ученых, оба источника – древнерусский (Повесть временных лет) и византийский (“История” Льва Диакона) – обнаруживают свое знакомство с Житием Василия Нового.

Исключительный интерес представляет это средневековое произведение для историка-византиста и своим отображением быта. В греческом тексте Жития дается подробное описание палат, занимаемых византийскими вельможами (палаты Самоны и Саронита), некоторых обычаев и порядков Константинополя. Так, из Жития узнаем, что в ночное время вход в город был запрещен, так что люди, по какой-либо причине не успевшие попасть в столицу до закрытия ворот, вынуждены были ночевать под ее стенами. Именно так это и произошло со св. Василием, которому пришлось расположиться на ночлег прямо перед Золотыми воротами. О всеобщей любви константинопольских жителей к скачкам говорится в другом эпизоде Жития, когда Григорий, объятый сомнениями в правильности иудейской веры, поспешил к св. Василию, но по дороге остановился у ипподрома и решил зайти взглянуть на скачки, несмотря на очевидную греховность подобного поступка. В церковнославянском переводе Жития сказано: “в д(ь)нь же тои бы(сть) оуподромиа игране и мало весь град тоу бы(сть) събрался” (в тот день были скачки на ипподроме, и почти весь город собрался здесь).

Крайне любопытны свидетельства, предоставляемые Житием, о религиозных воззрениях византийцев. Значительное место в народных верованиях отводилось колдовству и “бытовой” магии. Всевозможное наведение порчи, чему посвящено немало эпизодов Жития, было, очевидно, часто встречающимся явлением. Как-то раз человек, служивший в одном богатом доме, из зависти решил отравить управителя этого дома по имени Феодор. С этой целью он тайно отправился к некоей колдунье (“мде отаи к вълъгсве некоеи”), которая дала ему гвозди, к каждому из которых был пристроен колдуньей свой демон (“и когождо гвозда к демоноу принади”). Эти гвозди нечестивец вбил в стену в самой темной каморке дома, после чего все суставы Феодора расслабились, так что он не мог самостоятельно передвигаться. От вмешательства нечистой силы Феодора спас преподобный, который, провидев чудесным образом то, что приключилось с ним, вынул из стены все гвозди и закопал, “назнаменава их знамением силою г(оспод)нею и до д(ь)нешняго д(ь)не да не имоуть силы” (т.е. сотворив над ними крестное знамение, чтобы гвозди те потеряли свою волшебную силу).

В другой раз объектом приворотных чар стал сам Григорий, отвергший любовь колдуньи Мелитины. Замыслив отомстить, колдунья на-

слала на него во время послеобеденного сна черное облако, которое окутало Григория, так что тот после этого проснулся в горячке. В отчаянии Григорий обратился с молитвой к первомученику Стефану в церкви, посвященной этому святому. Св. первомученик явился ему в видении вместе с преп. Василием и исцелил его.

Рассказ о чудесном спасении Григория от смертельной болезни первомучеником Стефаном и св. Василием непосредственно предшествовал видению Григория по смерти Феодоры. В нем предварялись основные мотивы этого видения: так, ведомый св. Стефаном, Григорий опускается в подземное царство, проделывая тот же путь, что и души умерших людей, потом оказывается в раю, где видит чудесный сад, в котором его встречает св. Василий. Любопытно, что на вопрос Григория, обращенный к св. Стефану, почему тот дал свершиться таковому злу, хотя Григорий и молился этому святому с просьбой избавить его от всякой беды, св. первомученик ответил, что случилось это потому, что в тот момент он “отлучился” из своей церкви: “мне не соущоу сде дом (вм. дома) бо имам в всеи вселенеи и бых посещая их яко же вси с(вя)-тии” (...меня здесь не было, поскольку во всей вселенной у меня есть дома и я как раз посещал их, как делают это все святые). Тем самым признался, что святые не пребывают постоянно на небесах, но, подобно земным пастырям, посещают монастыри и церкви, им посвященные, а, значит, находящиеся в их ведении, под их “присмотром”. Греческий глагол *episkopēō* (от которого происходит слово *episkopos*, славянское заимствование *епископ*), употребляющийся в этом месте в оригинале, имеет своим прямым значением “осматривать, делать смотр чему-либо”, надзирать.

По внушению св. Василия Григорию были явлены два видения, описание которых занимает весьма важное место в структуре Жития.

Когда умирает старица Феодора, прислуживавшая святому Василию в доме, где он жил, опечаленный Григорий обратился к тому с просьбой открыть ему, какова загробная участь Феодоры.

В ту же ночь Григорий во сне оказывается в великолепном доме, где он встречает умершую Феодору. Она сообщает ему, что дом этот — обитель св. Василия, которую он стяжал своими праведными делами, и спрашивает, каким образом тот оказался здесь: “кто тя семо присла. сладкое мое чадо... ци оуже преставился еси яко семо приде” (Кто прислал тебя сюда, сладкое мое чадо? Или ты уже преставился, что пришел сюда?). Испуганный Григорий отвечал ей: “Г(оспо)же моя аз ти не оумрох. и еще бо м(о)л(и)твами пр(е)п(о)добнаго о(т)ца нашего василиа в мире сем пребываю. Тебе же ради придох семо” (Госпожа моя, я ведь еще не умер, но, молитвами преподобного отца нашего Василия пребываю в этом мире. Я пришел сюда ради тебя).

Тогда Феодора рассказала Григорию о тяжести смертного часа и о борьбе за ее душу демонов, явившихся к ее одру в облике эфиопов, и

ангелов, которым помогал св. Василий. Душа Феодоры после смерти прошла через своеобразные испытания (всего 21 мытарство: оклеветание; поругание; зависть; ложь; гнев и ярость; гордыня; празднование и сквернословие; коварство и лесть; уныние; сребролюбие; пьянство; злопамятство; чародейство и потворы; объединение и чревоугодие; идолослужение; мужеложство и детосквернение; прелюбодеяние; разбой; воровство; блуд; немилосердие). Удивившись, что ее душу так мало испытывают сидящие “князи мытарств”, Феодора спросила у водящих ее ангелов, можно ли человеку легко преодолеть эти препятствия. Ей ответили: “аще бы ты исповедала бы грехи своя до(у)х(о)вному своему о(т)цоу было ти епитимью приимиши... тогда бы прияла прощение от Б(о)га и о(т)ца твоего и мытарства злая и пагоубная прешла бы ныня бес пакости. никомоу же не могоущоу рещи слова на тя” (Если бы ты исповедалась своему духовному отцу в своих грехах и приняла бы епитимью, то тогда бы получила прощение от Бога и своего (духовного) отца и прошла бы беспрепятственно все злые и пагубные мытарства, и никто бы не смог обвинить тебя ни в чем).

В этой части церковнославянского перевода Жития говорится и о том, что каждый человек имеет своего “лукавого ангела”, который записывает за ним все его грехи, чтобы было в чем обвинить его при прохождении через мытарства. Греческий текст здесь несколько отличается от славянского, там сказано и о добром ангеле, который дается человеку при крещении (από τῆς βαπτισματικῆς ἀγαθὸν ἄγγελον – “от божественного крещения [получают] доброго ангела”). Интересно, что такое же поверье отразилось и в современной русской поговорке *на правом плече ангел-хранитель, на левом – бес-искуситель*. В Житии сказано, что всё хождение по мытарствам занимает 40 дней с момента смерти (“сѧ всѧ преходить чѣтырми десяти дѣ)ни. отнеле же отидох от оубогаго моего телеси”).

Пройдя через мытарства, душа Феодоры вошла во врата рая, а затем в сопровождении ангелов посетила обители праведников и место вечных мук грешников, после чего водворилась в обители св. Василия. Феодора водила Григория по райскому саду, потом Григорий оказался на райской трапезе (этот мотив впоследствии повторяется в видении Страшного суда), причем внезапно осознал, что находится в мире нематериальном: “себе иска(х) роукою роуку осязати. есть ли в мене кость и плоть. яко же пламень огненным видя кто и простер роукою хоцеть яти его и не может оудержати” (Я пытался потрогать одной рукою свою другую руку, чтобы узнать, есть ли во мне кость и плоть, как человек, который, видя огненное пламя, протягивает руку, чтобы схватить его, и не может удержать).

Поводом для другого видения служат размышления Григория о правильности иудейской веры. Чтобы разрешить возникшие у него сомнения о правомерности осуждения иудеев, Григорий отправился к св. Ва-

силию с просьбой, чтобы тот помолился Господу о ниспослании Григорию видения.

Той же ночью Григорий во сне увидел себя на некоем чудесном поле. Ведомый ангелом, он поднялся на небеса, где созерцал Вышний Иерусалим. Далее развернулись впечатляющие картины Страшного суда, когда Господь осуждал на вечную муку воскресших грешников, еретиков, среди которых видные ересиархи (Арий, Несторий, Македоний), иудеев и агарян, а праведникам даровал вечное блаженство на небе новом и земле новой. Господь призывал Григория поведать церкви и всем людям то, что было открыто ему в видении, чтобы все уверовали. В течение семи дней Григорий не выходил из своей кельи, чтобы записать все им увиденное.

Видения отделяются друг от друга рассказами о чудесах и деяниях св. Василия, который исцеляет людей от болезней, изгоняет бесов из одержимых.

После видения (за вторым видением Григория следует рассказ об одном только чуде святого – исцелении ребенка от катаракты) святой сообщил Григорию о своей скорой кончине и предсказал, что тот напишет его Житие. Он обратился к Господу с молитвой о Григории. Больше Григорий не видел его живым. Св. Василий умер в середине поста, 25 марта (7 апреля по н.с.), на праздник Благовещения.

Константин Варвар, богатый вельможа, в доме которого жил святой, решил похоронить св. Василия в своем поместье в храме Богоматери, однако некий человек по имени Иоанн, которого святой спас от порчи, наведенной на него любимой служанкой, просил Константина оставить тело святого в Константинополе. Там он и был похоронен в монастыре, находящемся близ церкви апостола Филиппа и монастыря Флора и Лавра.

Завершает Житие еще одно видение: друг Иоанна, принявшего монашество, после его смерти пожелал узнать, что тому уготовано на небесах. Подобно Григорию, увидевшему небесное жилище умершей Феды, друг Иоанна увидел того в палатах вместе со св. Василием. За этим следует поучение о богатстве добрых дел, о силе заступничества святых, и пользе милостыни и подвигов милосердия.

Обособленный характер двух больших видений стал причиной того, что данные фрагменты стали переписываться и распространяться отдельно, чему способствовала их внутренняя целостность и композиционная законченность. Характерно, что в самостоятельном виде видения существуют как в греческой, так и в славянской рукописной традиции, где включались в различного рода сборники. Эсхатологическая проблематика занимает в Житии доминирующее положение. Этим объясняется, что при появлении последующих редакций Жития и его переработок из текста устраняются все исторические и бытовые подробности, и на первый план выдвигаются два видения Григория, отку-

да и берет начало традиция их самостоятельного существования. Характерно, что именно видения Григория иллюстрируются миниатюрами вплоть до позднейших изданий, представляя собой ожившие в слове и красках картины частного суда над человеческой душой и всеобщего Страшного Суда.

На церковнославянском языке существуют два перевода Жития Василия Нового. Один из них, древнейший, выполненный, по всей вероятности, в конце XI века, содержит некоторое количество характерных слов, известных только у восточных славян (*корстица* “ящичек, коробочка”, *копытъце* “вид примитивной обуви”, *ослядь* “виселица”, *олядь* “лодка”, *трепасток* “обезьяна” и нек. другие). На основании этого можно полагать, что перевод выполнен в Древней Руси. Второй перевод появился, скорее всего, в XIV веке у южных славян. Именно он, как более краткий (в основу его легла более краткая версия греческого текста, где на первый план выдвигаются видения Григория), получил значительно большее распространение в славянских землях. Однако именно древнейший перевод привлек впоследствии внимание знаменитого святителя Димитрия Ростовского, когда он составлял свои Четьи Минеи (закончены в 1705 году). Житие Василия Нового в редакции св. Димитрия Ростовского получило широкое распространение на Руси, а также и у южных славян. Появлявшиеся многочисленные рукописные списки этого произведения из печатных Четьих Миней часто не имели даже указания на их источник и имя составителя.

На редакции Димитрия Ростовского основаны печатные переделки Жития XIX и XX веков, издаваемые, в частности, Афонским Русским Пантелеймоновым монастырем, которые и переиздаются в наше время. К этой же редакции восходит и издание “Суд за гробом, или мытарства преподобной Феодоры”, с которого мы начали свой рассказ.



Петров крест – символ рыбацкого счастья*

Н.А. КРИНИЧНАЯ,

доктор филологических наук

“Одначе, есть травы, коим сила от Бога дана” (Великорусские заклипания: Сб. Л.Н. Майкова / Послел., примеч. и подгот. текста А.К. Байбурина. СПб.; Париж, 1992), – утверждали ведуньи-зелейники. Вера в справедливость такого суждения была столь непоколебимой, что даже в самой Москве, у Москворецких ворот и на Глаголе, можно было, по свидетельству очевидцев, еще в конце XIX века купить “за хорошую цену” всевозможные чудодейственные травы. Среди них наряду с *плакуном* и *адамовой головой* особым спросом пользовался *Петров крест*.

Колдуны и знахари пытались опознать эту мифическую траву в реальном бесхлорофильном, бело-розового цвета растении из семейства норичниковых (*scrophulariaceae*), известном в ботанике под названием *lathraea squamaria*. Потайная, скрытая от человеческого глаза жизнь растения в немалой степени способствовала поддержанию в традиции связанных с ним поверий и мифологических рассказов. Петров крест появляется из земли лишь в период кратковременного цветения. Остальное же время живет в земле в виде длинных мясистых корневищ, от которых отходят корни, наделенные специальными присосками. С помощью последних он питается соками дуба, липы, клена, высасывая их из корней деревьев.

Мифический Петров крест, как и следует ожидать, мало похож на свой “оригинал”. По одним поверьям, он “растет по лугом по ровным местом” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1989. Вып. 15), по другим – “при морях и при реках” (Самолечение простого народа по травникам // Олонецкие губернские ведомости. 1884. № 42). Ростом Петров крест обычно “в локоть”, т.е. около 0,5 метра. Очертания стебля и форма наземной части растения варьируются: это трава, похожая на обычный горох, но без стручков (Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903); она простирается по земле, “яко же огу-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (№ 96-04-06151).

речные плети” (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 15), или растёт “кусточками, что молодая дятлинка” (Харитонов А. Врачевание, забавы и поверья крестьян Архангельской губернии, уездов: Шенкурского и Архангельского // Отечественные записки. 1848. Т. 58. № 5–6. Отд. 8. Смесь), т.е. подобно кашке, трилистнику или клеверу, известно-му в различных видах. Листья Петрова креста, будучи невелики по размеру, “растут нахрест” или похожи на крест. Его цветок красноват или багров.

Но в чем сходятся все поверья (по сути, безотносительно к реалиям), так это в том, что корень рассматриваемого растения имеет форму креста. Он по своим очертаниям похож на священный знак-символ или же заключает его в себе. Иногда этот корень осмысливается как самый настоящий крест – поклонный, которому кланяются крестьяне, или наперсный, т.е. нагрудный. Такой корень, уходящий на большую глубину, до двух аршин (около полутора метров), может состоять из множества крестов: “все крестами” или “крест-на-крест”. Благодаря этому отличительному признаку чудесное растение и получило вторую часть своего названия *Петров крест*.

Корень растения, которое осмысливается как божественное по своему происхождению, отмечен сакральным знаком. И добывается он – соответственно – в такое же время. Знахари, и особенно деревенские лекари, ищут его в день Ивана Купалы (24 июня по ст. стилю; 7 июля по нов. ст.), в период между заутреней и обедней, или же в ночь накануне этого праздника, тогда же, когда пытаются добыть цветок напоротника, разрыв-траву, равно как и многие растения, обладающие, по поверьям, чудодейственными свойствами. Ведь не случайно Иван Купала повсеместно именуется *травником*. Вместе с тем, согласно иным свидетельствам, Петров крест собирают – соответственно же – под Петров день (29 июня по ст. ст.; 12 июля по нов. ст.). Такое смещение принципиального значения не имеет. Как отмечал А.Н. Афанасьев, элементы купальской обрядности могли присутствовать и в праздновании Петрова дня: например, купальские игрища иногда приурочивались ко времени, близкому к этому дню: вечером же, накануне 29 июня, крестьяне зажигали костры, а наутро наблюдали игру восходящего солнца (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. 3). Тем самым отзвуки праздника летнего солнцеворота распространялись и на Петров день. И это отнюдь не случайно. По народному календарю, от Иванова до Петрова дня длились зеленые “летние” святки, приравниваемые по своему смыслу к рождественским “зимним”.

Какими обрядовыми действиями и магическими словами (заговорами или молитвами) сопровождалось добывание травы Петров крест – сведений об этом в нашем распоряжении не имеется. Известно только, что в поисках этого растения нужно уйти от деревни на такое расстояние, чтобы туда не доносилось пение петуха, а при обретении чудесного

корня совершались соответствующие обряды. Причем, по поверьям, трава давалась в руки только счастливым людям.

По своей сакральности и даже предназначению добытый корень приравнивался к нателному кресту или свече, освященной в церкви. Вот почему его, как и корень плакуна и одолень-травы, носили подчас вместе с крестом: измельчив Петров крест в порошок, закрепляли его воском, взятым от свечей, которые стояли во время молебна перед иконами Спасителя и Богоматери. Или же чудесную траву зашивали в одежду. Впрочем, ее принимали и внутрь, настаивая на молоке или на каком-либо ином питье, либо съедали с хлебом. Согласно поверьям, вместе с корнем Петрова креста человек обретает некое средоточие большого счастья – и носящий его в течение всей жизни бывает благополучен. С другой стороны, как уже говорилось, чудесная трава и достается таковым. Однако и обездоленным советуют носить этот корень “на счастье” (Авдеева К.А. Записки о старом и новом русском быте. СПб., 1842).

Вместе с тем добытое растение – могущественный оберег: у кого есть при себе Петров крест, к тому не прикоснется никакая нечистая сила. Это надежное средство от дьявольского наваждения, для “одоления демонской вражьей силы”, от происков колдунов (Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. Забытым. М., 1880. Ч. III). Согласно одному из мифологических рассказов, в том случае, когда в дом уже насланы черти – и они быют посуду, льют воду и всячески прокажут – изгнать их можно лишь посредством “Христовских” свеч, поставленных по всем углам жилища вместе с травой Петров крест. Совмещение этих амулетов основано на тождестве их воздействия на нечистую силу.

Петров крест имеет, по народным верованиям, и целебные, восстановительные, животворящие свойства. Не случайно эту траву дают “недужным”, т.е. больным, детям. Истоки подобных представлений обнаруживаются, в частности, в мифе о Петровом кресте, и ныне бытующем в вепской традиции. Согласно этому мифу, мальчик-богатырь остается немым до тех пор, пока ему не вставляют в рот корень редкостного в северных лесах Петрова креста (заметим, что в южном Прионежье, где и записан миф, проходит северная граница ареала распространения рассматриваемого растения). Корень стал языком, а герой мифа – создателем слов, живущих в речи прионежских вепсов и поныне (Криничная Н.А. Концепция происхождения человека (по данным мифологии, фольклора и ранних философско-медицинских учений) // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1989). О некоей соотнесенности этого растения с женским детородным началом, смысл которой, в сущности, уже утрачен, свидетельствует поверье: названная трава помогает “мучающимся месячными очинениями” (Харитонов А. Указ. соч.). Она же снимает уже насланную порчу.

Подобно цветку папоротника или разрыв-траве, корень Петрова креста используется кладоискателями для обретения “зачарованных” сокровищ как средоточия магической силы их владельца (осмысление золота и серебра в качестве материальных ценностей сформировалось позднее, вместе с установлением товарно-денежных отношений).

Этим рассмотрение магических свойств чудодейственного растения не исчерпывается, тем более, что оно не дает ответа на вопрос, каково же происхождение первой части его названия (упоминание о Петровом дне как времени сбора названной травы, по сути, не снимает вопроса). Здесь уместно вспомнить севернорусскую легенду, согласно которой будущий святой апостол Петр, занимаясь рыболовством (в полном соответствии с Евангелием от Марка. 1, 16), привязал к сетям траву, получившую наименование *Петров крест*, – и добывал обильный улов. По его примеру, эту траву стали привязывать к сетям и другие рыбаки (Верещанин Г. О народных средствах врачевания: В связи с поверьями // Этнографическое обозрение. 1898. № 3. Кн. XXXVIII). Факты использования магической силы растений для обеспечения удачи на промысле можно обнаружить и в севернорусских заговорах, где обладателем этих атрибутов (в данном случае – Адамова креста, эквивалентного Петрову кресту), выступают святые апостолы Петр и Павел, которые в христианской иконографии обычно встречаются вместе (их одиночные изображения крайне редки), а в мифологической традиции по сути сводятся к одному и тому же персонажу: они “держат во правых руках *Адамов крест – цвет и траву и золотые ключи* [Курсив мой. – Н.К.], и дают нам, рыболовам, для-ради сохранения нашей рыбной ловли” (Афанасьев. Указ. соч.). Характерно, что и в христианской символике используется в качестве атрибута апостола Петра пастырский посох с крестом, который с начала V века вытесняется ключами от ворот рая и ада (Нестерова О.Е. Петр // Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2), традиционно изображаемыми в христианской иконографии золотыми. В этой же роли может быть и “Мати Христа Бога нашего, пресвятая Богородица”: она “держит во правой руке *цвет и траву* [курсив мой. – Н.К.], и дает нам, рыболовам, для обукивания и сохранения нашей рыбной ловли: льняных и посконных и конопляных ловушек, красной рыбы семги и белой рыбы” (Афанасьев. Указ. соч.).

Итак, Петров или эквивалентный ему Адамов крест, который привязывают к сетям и которым окуливают снасти, служит для “сохранения нашей рыбной ловли”. Это чудодейственное растение осмысляется как “ключ” к водоему, где ведется промысел. Обладатель магической силой уже само по себе, оно с укреплением христианства превращается в атрибут святого. Соотнесенность травы, обеспечивающей богатый улов, с именем св. апостола Петра (и Павла) отнюдь не случайна. Сам в прошлом рыбак, ставший со временем покровителем рыбаков, он отчасти унаследовал, а отчасти разделил функции своего архаического

предшественника – духа-”хозяина” рек и озер, водяного, например, в иконографии: Петр чудесно источает воду из камня (Криничная Н.А. На синем камне: мифологические рассказы и поверья о духе-”хозяине” воды. Петрозаводск, 1994). Но само имя *Петр* означает по-гречески ”камень”. Значит, Петр и есть камень. ”Ты Петр, и на сем *камне* [курсив мой. – Н.К.] я создам церковь мою”, – говорит Иисус Христос, обыгрывая значение имени своего ученика и апостола (Евангелие от Матфея. 16, 18–19). Если камень при определенных обстоятельствах способен источать воду, отождествляться с нею, то, следовательно, и сам Петр может рассматриваться как некое олицетворение водной стихии.

Вместе с тем функцию дарителя ”рыбацкого счастья” данный персонаж христианской мифологии воспринял и от своего фитоморфного (растительного) предшественника, который постепенно трансформировался в его атрибут. Совмещение персонажей языческой и христианской мифологий в силу тождественности их функций завершилось закреплением имени святого в первой части названия чудодейственного растения. Во второй же его части сохранились отголоски представлений о божественном знаке-символе – в кресте. Подобно самому мифическому растению, этот знак-символ, уходящий своими корнями в языческие верования, был заново освоен и переосмыслен христианством.

Петрозаводск



Документы посольств в XVI–XVIII веках

Г.Д. УДАЛЫХ,

кандидат филологических наук

В Древней Руси дипломатическая деятельность служила средством закрепления результатов военных предприятий, для подготовки дальнейших завоевательных походов или для обороны против опасных соперников (Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. Зарождение древнерусской дипломатии. М., 1987). В это время возникла посольская служба, которая утвердила свои дипломатические атрибуты: учреждение, штат, этикет, формы обмена информацией, документацию, язык.

В XV–XVII вв. основной формой дипломатических отношений между государствами был обмен посольствами, которые представляли собой группу лиц, посланных за рубеж с поручениями. Обмен посольствами не носил постоянного характера, а происходил по мере надобности (для заключения мира, при избрании на престол, для установления торговых связей). Все материалы посольств передавались в Посольский приказ, где включались в так называемые Посольские книги, формирующиеся по принципу дипломатических сношений с определенными государствами.

Среди письменных источников по истории дипломатии Посольские книги являются самым информативным, многочисленным и наиболее сохранившимся до наших дней комплексом документов по внешней политике Российского государства конца XV – начала XVIII века. В настоящее время в Центральном государственном архиве древних актов (Москва) хранятся 610 посольских книг по связям России с иностранными государствами и более 150 книг по связям с народами, вошедшими в состав Российского государства (Око всей великой России). Об истории русской дипломатической службы XVI–XVII веков. М., 1989).

Основными видами документов посольств XVI–XVII веков были: *намяти* (I пол. XVI в.), *наказы* (II пол. XVI в.), *росписи*, *посольские речи*, *тексты договоров*, *статейные списки*. Состав документов посольств менялся на протяжении XVI–XVIII веков: он определялся целями и задачами посольства.

В XVIII веке Россия перешла к системе постоянных дипломатических представительств за рубежом, но практика посольств сохранялась еще четверть века. К этому времени их документы претерпели определенные структурно-композиционные и стилистические изменения.

Документы традиционно делились на две группы, связанные с отправлением посольства и возвращением его из-за рубежа. При отправлении наибольший интерес представляли такие документы, как *наказ* (XVI–XVII вв.) и *инструкция* (XVIII в.).

Слово *наказ* в языке XVI–XVII веков имело несколько значений: 1 – “наказ, наставление”; 2 – “приказ, повеление; указ”; 3 – “предписание, письменное распоряжение” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1983. Вып. 10).

В дипломатическом языке XVI–XVII веков слово *наказ* выступало в значении “письменное наставление послам”, “письменное распоряжение послам” и обозначало документ, в котором подробно перечислялись цели и задачи посольства, возложенные на посла поручения, его обязанности и нормы поведения.

Наказы были крайне детализированы; в них отражался широкий круг вопросов, интересовавших Посольский приказ: от внешней и внутренней политики до подробностей быта и культурной жизни в том или ином государстве.

Во время подготовки наказов использовался архив Посольского приказа: при отсутствии постоянных дипломатических отношений и дипломатической связи необходимо было учитывать предыдущие поездки в данную страну. Наказы могли выражать официальную правительственную концепцию тех или иных событий, подготовленную специально для распространения за рубежом (Рогожин М.Н. Наказы русским послам XVI в., как исторический источник // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 1993).

На основе наказов после завершения посольства составлялся отчет (статейный список).

В начале XVIII века слово *наказ* в дипломатическом значении выходит из употребления. В сохранившейся практике посольств начала XVIII века вместо наказа используется документ, обозначаемый иноязычным словом *инструкция*: Инструкция 1709 и Инструкции 1719 (Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972).

Указание на синонимический характер слов *наказ* и *инструкция* содержится в Словаре В. Даля: “наказ, приказ, приказанье, повеленье, предписание; инструкция, наставленье” (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб. – М., 1881. Т. 2).

Следует отметить, что в 70-х годах XVIII века наказ входит в структуру *наставления* – нового административного документа для служебной переписки органов местной (губернской) власти (Багрянцева Г.И. Учреждение о губерниях. Русская речь. 1994. № 3). Ср. также: “под наказом или инструкцией разумеют у нас законы, определяющие порядок деятельности тех или других органов управления (Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1897. Т. XX).

По функции инструкции посольств XVIII века сближаются с наказами, но имеют некоторые структурно-композиционные особенности.

Формуляр наказов сложился в начале XVI века и состоял из двух частей: 1 – изложение задач посольства; 2 – гипотетические вопросы/ответы послов. К середине XVI века вопросы были окончательно отредактированы в Посольском приказе и приобрели клишированный характер. Самыми распространенными были: “И будет спросят (о том)”, “И будет учнут говорить (о том)” (Рогожин. Указ. соч.).

В начальных пунктах инструкций содержалось указание на различные обстоятельства и причины, которые вызвали необходимость посольства. Далее излагались задачи посольства. Например, в пункте “четыре” Инструкции Флорио Беневени содержались задачи военного характера: о количестве и состоянии крепостей у бухарского хана, о числе войск, конницы и артиллерии и т.д. (Посланник Петра I на Востоке. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718–1725 годах. М., 1986). В Инструкции А. Бековичу-Черкасскому в пункте “восемь” были сформулированы внешнеполитические цели: установление дружественных отношений с хивинским ханом, рассмотрение возможности принятия Хивинского ханства в российское подданство и т.д. (Русско-туркменские отношения в XVII–XIX вв. (До присоединения Туркмени к России) // Сб. архивных документов. Ашхабад, 1963).

Следует указать на случай синонимического употребления в начале XVIII века слов *инструкция/пункт* в значении “документ распорядительного характера”: “Сему последнему [Бековичу. – Г.У.] даны были

собственной его величества рукою писанные пункты” (Записки о поездках князя Александра Бековича-Черкасского к восточному берегу Каспийского моря и о сухопутной экспедиции его в Хиву // Русско-туркменские отношения в XVII–XIX вв.). “Что ему [Бековичу-Черкасскому. – Г.У.] там велено делать, о том дали ему пункты” (Именной указ Петра I об отправлении князя Черкасского, 14 февраля 1716 г. Там же).

На основе инструкций посольств начала XVIII века составлялся журнал (дневник) посольства – новый жанр дипломатических документов.

В инструкциях нашли место определенные структурно-композиционные особенности наказов. Так, в наказах II половины XVII века был распространен вопрос-формула “Да провести”, который указывал на секретный характер собираемой информации. Это был тип вопросов, ответы на которые должны были выяснить сами дипломаты. Полученные ответы представляли собой информативный источник для Посольского приказа: при помощи собранной дипломатами информации Посольский приказ ориентировался во внешнеполитической ситуации. В инструкциях XVIII века подобный вопрос имел несколько вариантов: *разведывать, проведывать, уведывать, присматривать*.

Новым структурным элементом в инструкциях начала XVIII века можно назвать наличие *рописи* – документа, который в XVI–XVII веках имел самостоятельный характер. Он определял количество продовольствия (“корма”) для содержания посольства и список подарков для глав государств и их приближенных. В XVIII веке росписи в дипломатическом значении обозначали “список лиц и перечень снаряжения для нужд посольства”, например, в Инструкции Бековичу читаем: “п. 9. Для всего сего надлежит дать регулярных четыре тысячи человек, судов, сколько потребно”; “п. 12. Нарядить казаков яицких полторы тысячи, гребенских пятьсот да сто человек драгун и доброго командира, которым иттить под образом провожания каравана из Астрахани и для строения города. Для делания там города отпустить с помянутыми конными несколько лопаток и кирок” (Русско-туркменские отношения в XVII–XIX вв.). Как видим, в инструкциях соединились элементы распорядительного и исполнительного характеров, что обеспечивало нормальную деятельность посольства за рубежом.

Таким образом, наказ и инструкция – распорядительно-регламентирующие документы, являющиеся составной частью документов посольств XVI–XVIII веков. Отличительная черта их – в принадлежности к тайным (не публикуемым) дипломатическим материалам для служебного пользования. В них отражены основные вопросы внешней и внутренней политики России XVI–XVIII веков; установлены понятия “дипломатический этикет”, “дипломатическая вежливость”, “дипломатический церемониал”. Форма наказов и инструкций совершенствовалась.

лась: от двухчастной структуры – наказ с обязательными стандартными формулами-вопросами и формулами-ответами до инструкции, состоящей из отдельных пунктов. Подобная композиция способствовала логичности, ясности изложения, которое становилось более лаконичным.

Между наказом и инструкцией существовала взаимосвязь, проявляющаяся в наличии однотипных композиционных элементов; с другой стороны, наблюдалась трансформация отдельных элементов композиции и введение новых. Наказы, как дипломатические документы, перестали использоваться в начале XVIII века. Инструкции прочно вошли в дипломатический обиход и расширили сферу функционирования (письменная и устная форма).

*Азербайджан,
Баку*

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Пянгелёй. Эрзянское село в Мордовии.

Название объясняют через мордовское (эрзянское) сочетание *пенге лей* (*пенге латко*) “овраг, где вырубали лес на дрова” (Инжеватов. Указ. соч.).

пянгелёйцы, пянгелёсц

пянгелёйский, -ая, -ое

Раздолье. Русское село в Мордовии, а также название многих селений в Центральной России. В основе топонима апеллятив *раздолье* “простор, обилие и воля, свобода” (Даль. Т. IV). Слово и его производные очень активны в топонимии России: *Раздольная, Раздольное, Раздольный, Раздольский* и др.

раздольницы и раздольцы

раздольинский, -ая, -ое и раздольский, -ая, -ое

Разлив. Дачный поселок в Ленинградской области, входит в состав города Сестрорецка. Название дано по одноименному озеру на берегу которого находится поселок. В основе названия географический термин *разлив* “река, вышедшая из берегов”, “половодье; плёс, образующий озеро”.

разливцы, разливец и разливенцы, разливец

разливский, -ая, -ое и разливенский, -ая, -ое

Разлив Сестрорецкий. Искусственное озеро у города Сестрорецка. Как пишет С.В. Кисловский в “Словаре географических названий Ленинградской области”, оно образовалось в результате сооружения запруды в нижнем течении рек Сестры и Черной в 1716 году. Озеро находится на месте впадины, бывшей когда-то мелководным заливом Балтийского моря.

Разнёжье. Село в Нижегородской области, известно с 1371 года. На основании того, что село в XV веке принадлежало Семену Разнежскому, связывают его название с фамилией владельца, которому принадлежала и вся вотчина Разнежье с угодьями (Трубе. Как возникли географические названия Горьковской области).

Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–4.

Более убедительной представляется обратная ситуация. В ранней и средневековой топонимии Центральной России именитые землевладельцы получали фамилии (прозвища) по именам своих вотчин, стольных городов и т.д. Об этом хотя бы говорят фамилии князей – *Дмитровский, Серпуховской, Суздальский* и др. *Разнеженский*, вероятно, получил фамилию по названию своей вотчины *Разнежье*. Название *Разнежье* вполне объяснимо от *разнежья* – действие по глаголу *разнежить, разнеживать*: *разнежить землю* “разрыхлить, распушить” (Даль. Т. IV). Это значит, что вотчина возникла на распаханной (расчищенной от леса), разделанной под пашню земле.

разне́женцы, разне́женец и разне́жцы, разне́жец
разне́женский, -ая, -ое и разне́жский, -ая, -ое

Ра́менское (1926). Город в Московской области. Название несомненно имеет отношение к апеллятиву *рамень (раменье)* с большим спектром значений в русском языке, связанных с лесом и поселением у леса: лес, соседствующий с полями, пашней; смешанное чернолесье; густой дремучий лес, где есть роспашь; лесная непроезжая глушь, где на опушке есть росчисть и селение; остров, клин, полоса однородного леса и т.п. Вероятно, в последнем значении слово *рамень* дало название *Раменское*. Есть основание считать все перечисленные значения вторичными, восходящими к “сухое, возвышенное место в лесу” из “росчисть, подсека на сухом возвышенном месте”. Поляризация значений и характер развития земледелия привели к тому, что *раменьем, раменкой* стали называть не росчисть на сухом возвышенном месте, а остров, клин, полосу леса среди поля, оставшиеся в результате распахивания леса.

В топонимическом отношении апеллятив *рамень* очень активен как в названии водных объектов, так и селений: в бассейне Оки река *Раменка* встречается семь раз, ручей *Раменка (Раменской)*, озеро *Раменское*; села и деревни *Рамень, Раменье, Раменки, Раменское* и др. В ленинградской области деревни *Раменье, Рамцы*.

ра́менцы, ра́менец
ра́менский, -ая, -ое

Рамо́нь. Рабочий поселок в Воронежской области. Исследователи предполагают, что поселение могло возникнуть в XI или XII веках. Название известно до основания города Воронежа, встречается в источниках XVI века (1571 г.) как городище Рамонь. В.А. Прохоров считает, что название могло быть перенесено переселенцами-славянами из Черниговской земли, оттуда, где сейчас в Сумской области Украины находится город Ромны. Название *Ромен* есть в Черниговско-Сумском Полесье и в настоящее время: реки – *Ромен, Большой Ромен, Сухой Ромен* (Словник гідронімів України. Київ, 1979), озеро *Роменский Ставок*, овраг *Роменский Яр* (Черепанова Е.А. Микротопонимия Чернигово-Сумского Полесья. Сумы, 1984). Эти факты подтверждают черни-

говское “происхождение” поселка Рамонь, хотя и нельзя исключать в его основе апеллятив *рамонь* (см. *Раменское*) или *рама* – “опушка, граница леса”. В.А. Прохоров в книге “Вся Воронежская земля” (Воронеж, 1973) объясняет другой воронежский топоним *Рамонье* через *рамень* и подкрепляет это тем, что село находится на восточной окраине небольшого леса.

рамонцы, рамонец, рамонка
рамонский, -ая, -ое

Рассказово (1926). Город в Тамбовской области. Происхождение названия точно не известно, но, как считают местные жители, Рассказовы были в нем первопоселенцами. По фамилии первопоселенца назван и русский поселок *Рассказово* в Мордовии.

рассказовцы, рассказовец
рассказовский, -ая, -ое

Рассоха (Россоха). Название многих небольших рек, речек, лугов и селений в Центральной России. В основе этих названий апеллятив *рассоха* (*россоха*) “раздвоение реки, развилка” или “слияние рек”, “место впадения одной реки в другую”. *Рассохой* называется и самая острая часть сохи, на которую надеваются сошники. Известны термины *рассоховатый яр* “раздваивающийся овраг”, *рассоховатый дуб* “дуб с раздвоенной вершиной”. Апеллятив *рассоха* активен в топонимии в разных формах: река *Рассоха*, луг *Рассоха*, реки *Рассоховатка*, *Рассоховая* и др. Ср. *Россошь*.

рассохинский, -ая, -ое

Растыкайловка. Хутор в Воронежской области, образованный при объединении трех других, видимо, в конце XIX века около урочища Высокие Солонцы (Прохоров. Указ. соч.). В.А. Прохоров предполагает, что селиться здесь начали еще в конце XVIII века, причем дома (хаты) ставились без всякого порядка, произвольно. Они были как бы разбросаны, растыканы по местности. Это обстоятельство и глагол *растыкать* дали основание для названия *Растыкайловка*.

растыкайловцы, растыкайловец
растыкайловский, -ая, -ое

Продолжение следует

“МЫ НЕ ЗНАЕМ... КАМНИ ЗНАЮТ”

Н.К. Рерих о географических названиях

Э.М. МУРЗАЕВ,

доктор географических наук

Николай Константинович Рерих (1874–1947) – великий русский художник, ученый, писатель, мыслитель, много путешествовал по белому свету. Побывал в разных местах Азии, Европы, Америки. Известны и поездки по России, где его привлекали не только пейзажи Родины, но и былое, сохранившееся в археологических стоянках, памятниках древнерусского зодчества, в народном словесном творчестве.

Как путешественника Н.К. Рериха можно поставить в один ряд с Н.М. Пржевальским, Г.Н. Потаниным, П.К. Козловым. С Пржевальским Николая Константиновича сближает желание понять мир необъятных пустынь, космических вершин высочайших на земном шаре горных сооружений, которые он так ярко запечатлел на сотнях полотен. Интересы Потанина и Рериха пересекаются на фольклоре. Легенды, сказки, эпос разных народов Азии привлекали их обоих. Наконец, с Козловым Рериха роднит исследование материальных следов прошлого, любовь к археологии. И, конечно, в этой науке Николай Константинович был настоящим профессионалом, а Петр Кузьмич занялся ею уже на закате своей активной деятельности.

В двадцатых годах нашего столетия небольшая экспедиция Рериха дважды пересекала по разным маршрутам Центральную Азию. Из Индии, где с 1920 года постоянно жил художник, он прошел до Алтая через Гималаи, Тибет, Куньлунь, Таримскую впадину, пустыню Гоби. Тогда было написано много картин, собран большой этнографический материал. В одном человеке – Рерихе – сочетались, что редко встречается, искусство и наука. Он автор афоризма: “искусство это сердце народа, а наука это ум народа”.

Обладая широкими интересами, Николай Константинович не мог равнодушно пройти мимо географических названий – своеобразного памятника народного творчества. В нем много непонятного и требующего осмысления. Слово *топонимика* мне не встречалось в произведениях Рериха. Но в них нередки упоминания о географических названиях, значении их и смысловом содержании. Художник зорким глазом видел разнообразие мира, немало удивительного. Разве не таинственностью влекут к себе знакомые с детства названия: *Гималаи, Тибет, Гоби, Джунгария, Алтай, Иртыш, Брахмапутра?*

Еще в гимназии на уроках географии юноша Рерих вычерчивал кар-

ту Азии и надписывал имена рек, гор и пустынь, вслушиваясь в экзотически звучащую музыку их названий, непонятных и зовущих познать глубоко скрытый в них смысл.

Алтай, считал Рерих, средоточие, центр, сердце Азии, а ее он величал таинственной колыбелью человечества. На Алтае путешественник слышал: *Ондугай, Тигерецкий кряж, Карагай*. “Эти имена речек, урочищ и городищ как созвучный звон. Сколько народов принесли свои лучшие созвучия и мечты. Шаг племен. Ушли и приходят” (Алтай – Гималаи. М., 1974). Названия – свидетели прошлого. Горы Алтая некогда заселяли не только тюркские и монгольские племена, но и народы, говорившие на каком-то индоевропейском языке.

Н.К. Рерих задумывается над вопросом, и по сей день остающимся без ответа: “Кто назвал горы и реки? Кто дал первые названия городам и местностям?” Только иногда доходят смутные легенды об обоснованиях и наименованиях. При этом нередко названия относятся к какому-то неведомому, неупотребительному языку, иногда названия неожиданно соответствуют наречию совсем других стран – значит, путники, переселенцы, пленники запечатлели на пути своем имена. Вопрос географических названий сплошь и рядом выдвигает энигмы [греч. “загадки”. – Э.М.] неразрешимые, конечно, если люди обычно не знают, как сложилось название их дедовского поместья, то насколько невозможно уловить тысячелетние причины” (Рерих Н.К. Избранное. М., 1990).

В Центральной Азии по маршруту экспедиции Н.К. Рерих встречался и беседовал с местными жителями с помощью своего сына Юрия, выдающегося востоковеда и полиглота. Это были тибетцы, турки, монголы, китайцы. И они по-разному называли один и тот же объект: гору, реку, колодец в пустыне, населенное место в оазисе. На карту попадало то имя, которое впервые услышал путешественник, топограф, картограф. Так объясняется многоименность какого-то одного пункта. На крайнем западе Китая есть город Аксу, расположенный на одноименной реке. Тюркское *аксу* “белая, чистая вода”. Можно еще перевести как “текущая с гор вода”. Китайцы этот город называют *Вэньсу* “теплый, уютный ночлег, теплая стоянка, гостиница”. Тюркское *арасан*, монгольское *аршан* “источник минеральной, целебной воды” у кыргайцев *вэньцюань* “теплый источник”. Город Кашгар в китайской географии *Хашш*, озеро Баграшкуль – Бостаннур, где монгольское *нур* “озеро”. Большое озеро Цинхай монголы называют *Кукунор*, а тибетское озеро Намцо – *Тенгринуром*.

Многоименность усиливается наличием в Центральной Азии еще и ираноязычных топонимов, а также арабских, пришедших в Западный Китай вместе с исламом.

Н.К. Рерих протестовал против присвоения европейских, и в частности русских, топонимов географическим объектам в местах, где мест-

ным жителям они давно известны и наречены в далеком прошлом. Без права на то на картах Китая и Монголии, изданных в России и на Западе, появились горные хребты *Риттера*, *Эдуарда Зюсса*, *Обручева*, вершина *Шанка Мономаха* и много других подобных. Современная картография Китая и Монголии справедливо игнорирует такие топонимические образования, и они постепенно забываются. Право первопроходцев присваивать те или иные названия неоспоримо только в безлюдных областях земного шара, где нет и не было населения.

В книге “Избранное” (М., 1979) Н.К. Рерих писал: “Но особенно странно было с европейскими названиями, насильственно прикрепленными к древним местам, давно имевшим свои местные имена. Все эти хребты Марко Поло, Гумбольдта, Риттера, Александра III, Пржевальского, конечно, не имеют никакого значения для всех местных народностей, ибо для них известны в незапамятные времена. И еще одно оригинальное условие мешает точности названий. По поверию монголов и тибетцев нельзя произносить название места в пустыне, иначе боги пустыни будут привлечены этим именем и рассержены”.

И, конечно, закономерен протест путешественника против внедрения искусственных топонимов в уже сложившуюся систему, корни которой лежат в далеком от нас времени.

Значимость совокупности географических названий как вестника истории Николай Константинович подчеркивает в высоких словах. В статье “Священные знаки” (Письмена. 1974) читаем: “Мы не знаем. Но они знают. Камни знают. Даже знают деревья. И помнят. Помнят, кто назвал горы и реки. Кто сложил бывшие города. Кто имя дал незапамятным странам. Неведомые нам слова. Все они полны смысла. Все они полны подвигов”.

Рерих любил горы. В своих картинах он показал их на редкость удивительное многоцветие. Годы, десятилетия прожил он среди гор в прохладных зеленых долинах. “Гималаи, разрешите еще раз послать вам сердечное восхищение” (Зажигайте сердца. М., 1990). Эта любовь охватила и незнакомый мир названий хребтов, гор, вершин, долин, а затем и других географических объектов. Путешественник часто задумывался над вечным вопросом – что скрывается в непонятно звучащих именах.

Николай Константинович Рерих великий романтик в своем творчестве. И в топонимике он не изменил романтизму.



“Свое” и “чужое” в русских пословицах и поговорках

С.А. ШУВАЛОВА,
доктор филологических наук

О том, что русские пословицы и поговорки неисчерпаемо богаты содержанием и что в них с удивительной выразительной силой запечатлелась “картина мира”, сложившаяся в представлении “обобщённого” русского человека, написано немало. Дальнейшая обработка и систематизация пословичного фонда требует значительных исследовательских усилий. И если бы такая попытка была осуществлена, то её результаты могли бы быть интересны и полезны как широкому кругу специалистов-гуманитариев, так и всем ревнителям русской культуры и русского фольклора. Они стали бы солидной основой для глубокого сопоставительного изучения “наивной” социальной психологии, нашедшей отражение в языке.

В этой статье предпринята попытка суммировать некоторые предварительные наблюдения, сделанные на материале русских пословиц и поговорок, в которых противопоставляются понятия **своё** и **чужое**. В качестве основного источника был использован сборник В.И. Даля “Пословицы русского народа”, в котором имеется отдельная тематическая рубрика СВОЁ – ЧУЖОЕ, содержащая около 700 пословиц и поговорок. Они могут быть разделены на **констатирующие** (“Всякому своя слеза едка / солона”, “Всякому своё и не мыто бело”) и **предписывающие** (“За чужим добром не гоняйся с багром!”, “Ешь чужие пироги, а свои вперёд береги!”). Необходимо, однако, сделать оговорку. Не все пословицы удаётся отнести к одной из этих групп. Как, например, трактовать следующие: “Лошади чужие, хомут не свой – по-

гоняй, не стой!” и “Свое добро в горсточку собирай, чужое добро сей, рассей!”? Возможно, подобные пословицы – это реплика-реакция на соответствующее поведение некоего персонажа (собеседника или третьего лица), где как бы “восстанавливается” ход его мысли, содержатся его, так сказать, рекомендации к самому себе. Цель употребления таких пословиц – насмешливое неодобрение какого-то поступка, поведения. Но советы, рекомендации, предписания могут давать и констатирующие пословицы. А пословица “Никакая сорока в своё гнездо не гадит” имеет сразу два прочтения: констатирующее – “никто не делает что-либо во вред своему дому, своей семье” (то есть людям свойственно сознательно оберегать свой дом, своих близких от всего дурного) и предписывающее – “нельзя, не следует делать что-либо во вред своему дому”. И всё же несмотря на некоторые изъятия, деление пословиц на констатирующие и предписывающие представляется целесообразным, поскольку позволяет *ощутить* большой по объёму материал. Остановимся лишь на русских пословицах констатирующего характера. Их, в свою очередь, представим в следующих семи основных разделах:

1. Человеку свойственна необъективность в оценке своего и чужого.

а) СВОЁ оценивается как *хорошее* (или как *лучшее* в сравнении с НЕ СВОИМ):

“Всякому своё мило (любо и дорого)”, “Свой уголок всего краше”, “Всякому мила своя сторона”, “Свой быт милее”, “Свой хлеб сытнее”, “На мне шкура и не чёрного соболя, да своя, так и хороша”, “Всякому мужу своя жена милее”, “Всяк кулик своё болото хвалит”. Причём во многих случаях необъективность оценки подчёркивает в пословицах прямое указание на более высокое качество чужого или на не очень высокое качество своего: “Чужое и хорошее постыло, а своё и худо, да мило”. “Твоё хоть дороже (краснее, белее), а своё милее”, “Всякому своё и не мыто бело”, “Свой хлеб слаще чужого калача”, “Свои сухари лучше чужих пирогов”, “Своя корка слаще чужого каравай”, “Своя печаль чужой радости дороже”, “Малый вертеп мой лучше Синайския горы”.

Особого рода случаи оценочной необъективности – всегдашнее восхищение родителей (особенно матери) своими детьми: “Нет певчего для вороны супротив родного воронёнка”, “Дитя хоть и криво (хило), да отцу, матери мило”, “Свое дитя и немытое мило”, “У всякого свой сын по локоть в золоте, по пояс в серебре, во лбу ясный месяц, в затылке часты звёзды”, “Всякой матери милы свои детки”.

б) ЧУЖОЕ оценивается как *хорошее* (или как *лучшее* в сравнении со СВОИМ):

“Хороша рыба на чужом блюде”, “Чужой ломоть лаком”, “В чужих руках кусок больше кажется”, “В чужих руках пирог больше, да и ло-

мочь кажется толще”, “В чужих руках ломоть за ковригу”, “В чужом дворе курица петухом кажется”, “В чужом дворе трава зеленее”, “На чужой лавке мягче сидится”, “В чужом огороде огурцы вкуснее”, “В чужую жену чёрт ложку мёду кладёт”. Предвзятость оценки чужого как лучшего (или большего по размеру, что в данных контекстах равносильно оценке “лучше”) проявляет себя в ситуациях, когда субъект испытывает чувство зависти. Именно зависть способна приводить к искажённому восприятию действительности, к преувеличению чужих положительных качеств.

Пословицы фиксируют человеческую предубеждённость в оценке своих и чужих трудов и усилий: “В чужих руках всё дело легко”, “На чужих руках мозолей не видно”. Часто является предвзятым отношение к своим и не своим (чужим) бедам, болезням, несчастьям, печалям и т.д. (“Всякому своя слеза едка (солона)”, “Всякому своя обида горька (дорога)”, “Каждому своя болезнь тяжела”, “Всякому своя рана болит”, “Своя болячка больше болит”, “Болен зуб у себя во рту”, “За чужой щекой зуб не болит”, “Чужая слеза – вода (что с гуся вода)”, “Чужая боль не болит”, “Чужое горе не тяготит”, “Чужая болячка в боку не сидит”, “Чужое горе оханьем пройдёт”, “С чужого похмелья голова не болит”, “Свое горе – велик желвак, чужая болячка – почесушка”, “Чужую беду и с хлебом съешь, а своя и с калачом в горло нейдёт”, “Чужую беду, не посоля уплету, а свою, и посахарив, не проглочу”, “Чужая беда – смех, а своя беда – грех”, “Чужой сын дурак – смех, а свой сын дурак – смерть (стыд)”). В данном случае свои беды, болезни, проблемы и обиды представляются серьёзными, заслуживающими внимания, а сочувствие и жалость обращены к себе; чужие же боли и несчастья не принимаются всерьёз. Отмечается и куда более неприятная реакция на чужую беду – злорадство: “Чужая беда за сахар”. Правда, существуют контрпословицы, предупреждающие о бессмысленности, бесполезности такой недоброжелательности: “Чужой бедой сыт не будешь”, “Чужие немощи не исцелят”. Попутно обратим внимание на любопытный образ “поедания”, “проглатывания” беды (с солью, с сахаром) в приведённых пословицах.

Человеку трудно сохранить объективность и тогда, когда дело касается своих и чужих грехов, недостатков, промахов, ошибок. Люди склонны строже судить других, часто прощая себе более серьёзные прегрешения (“У людей в глазу соринку / сучок видишь, а у себя и бревна не видишь”, “Чужой грех грешнее”, “Чужая вина виноватее / не прощёная”, “Свой грех с орех, а чужой с ведро”, “На людей заказчик, на себя потворщик”, “Не наше дело пахать, наше дело огрехи считать”). Однако такие пословицы, как: “Чужой грех перед очами, а свой за плечами” и “Верблюду своего горба не видит”, указывают на некоторые трудности установления собственных грехов и ошибок

(пословичный образ квалифицирует их как визуальные – “трудно видеть то, что находится за плечами”), тем самым как бы внося элемент оправдания замеченной необъективности, за которую человека, может быть, и не стоит особенно порицать... А вот пословица “Наш грех больше всех” как будто иллюстрирует строгое отношение к самому себе, но поскольку условия её употребления нигде специально не оговариваются, остаётся не вполне ясным, имеет ли она в виду тех, кто более строг к себе, чем к другим, или же используется в качестве реплики для выражения несогласия с несправедливой критикой в свой адрес.

2. Своя среда благоприятна и комфортна, она даёт чувство уверенности; свои люди добры, благожелательны, от них ждёшь сочувствия, участия, помощи.

Своя среда как наиболее благоприятная, предпочтительная отображается в русских пословицах с помощью сравнения своего дома с матерью, то есть с самым близким человеком (“Своя хатка – родная matka”) или с подругой (“Своя избушка та же подружка”); указанием на то, что дома возможно и невозможное (“Дома и солома съедома”, “Дома и стены помогают”); тезисом о том, что человек бывает особенно хорош (велик, талантлив, храбр) в своей родной среде (при этом в качестве такой часто намеренно избирается “болото”, то есть весьма некомфортная обстановка, которая, будучи знакомой, является для него как бы благоприятной): “Всякий при своём болоте хорош”, “Всяк кулик на своём болоте велик”, “В своём болоте и лягушка поёт”. Особые качества, не свойственные тому или иному человеку в обычных условиях, могут проявиться в связи с необходимостью защищать свой дом (свою среду, своё обиталище): “В своём гнезде и ворона коршуну глаз выклюет”, “На своём пепелище и курица бьёт”, “И петух на своём пепелище храбёр”.

Во многих пословицах этого раздела близкие, “свои” люди предстают как часть родной среды, они благожелательны, от них естественно ждать участия, помощи, сочувствия. Пословицы с удовлетворением отмечают сложившуюся закономерность, как бы даже ни от кого не зависящую, согласно которой свой “вынужден” помогать своему, может быть, иногда против собственной воли: “Свой своему поневоле брат”, “Свой своему и ногою шнёт, поможет”. Свои люди (и животные тоже) вызывают жалость и снисходительное отношение, даже в тех случаях, когда свой ведёт себя недостойно: “Своего коня шлепком, чужого кругляком”, “Хоть и вор, да мой, так и жалко”. Отступления от неписаных “законов” воспринимаются как нарушение нормы: “Кому от чужих, а нам от своих”, “Уж лаяла бы собака, да не своя”, “Гложи меня собака, да чужая (да не своя; да неведомая)”.

3. Чужая среда незнакома, неизвестна, часто враждебна и опасна; чужие люди недоброжелательны.

В отличие от своей чужая среда вызывает чувство дискомфорта и неуверенности. Это в лучшем случае, а в худшем – она недоброжелательна и даже враждебна. В изображении чужой среды часто используется образ дремучего леса: “Чужая сторона – дремуч бор”, “Чужая сторона – вор (разбойник)”, “В чужом месте, что в лесу”, “На чужой стороне и сокола вороной назовут”, “Чужой человек не на утеху, на просмех”, “В чужом пиру похмелье”. Специальная пословица указывает на языковую проблему в чужой среде: “Горе в чужой земле безъязыкому”. Однако неблагоприятная обстановка иногда заставляет человека мобилизоваться и тем самым помогает ему в трудных обстоятельствах: “Чужая сторона прибавит ума”.

Самодостаточно выступает в пословицах “чужая душа”, характеризующаяся как нечто неизвестное и недоступное познанию: “Чужая душа – загадка”, “Чужая душа – потёмки”, “Чужая душа – дремучий бор (тёмный лес)”, “В чужую душу не влезешь”, “Чужая душа не гумно: не заглянешь”.

4. Иные обычаи, взгляды, вкусы, привычки, мнения у других людей, в другом обществе – это нормально.

Чужая среда нередко предстаёт в пословицах как недружественная и опасная. Однако существует понимание и принятие того, что в иной среде допустимы иные обычаи, взгляды, привычки, мнения (в противном случае она не была бы иной!), и каждый человек в ней – *иной* и не должен обязательно походить на меня и поступать, как я (“Во всяком подворье своё поверье”, “Всякий поп по-своему поёт”, “У всякого попа по-своему поют”, “Как кто хочет, так по своей жене и плачет”). И понятно, что действия человека, пытающегося в чужой обстановке жить по своим законам, одобрения не вызывают: “В чужой монастырь со своим уставом не ходят”. Но изучение чужого опыта и сравнение его со своим может оказаться даже полезным: “В чужом доме побывать, в своём гнилое бревно увидеть”.

5. Человек эгоцентричен и думает в первую очередь о себе и своих нуждах, преследует свои интересы.

“Своя рука только к себе тянет”, “Своя рубашка к телу ближе”, “Всяк сам себе ближе”. Естественно, что чужие интересы находятся при этом за пределами собственного внимания и забот: “Коли конь, да не мой – так волк его ешь!”, “Чужая корова, что выдосна, что высоса-

на – всё равно”, “Чужая свинья да в чужом огороде – волк её режь и с огородом-то”.

При сопоставлении личных интересов с интересами других отдаётся предпочтение своим, даже притязания близких людей обычно несопоставимы с интересами личными: “Вся семья своя, да всяк любит себя”, “Род да племя близки, а свой рот ближе”, “А что мне до чужих? Да пропадай хоть свои!”. Когда же сталкиваются личные интересы с чужой выгодой, результат ясен заранее. На первом месте всегда свой интерес, даже если он совсем незначительный: “Своя рогожа чужой рожжи дороже”, “Режь, волк, чужую кобылу, да моей овцы не тронь!”. Впрочем, определённое осознание “неправильности” такой линии поведения, когда игнорируются или уж очень сильно отодвигаются на задний план интересы другого человека, породило пословицу, содержащую насмешливое наблюдение над лукавством “тянущего к себе”: “Себе кусочек с коровий носочек, другому ломоть – положить нечего в рот”.

Пословицы, в которых игнорирование личного интереса отмечается как нечто ненормальное, близко сопряжены по смыслу с другими, в которых с неодобрением говорится о слишком большом участии в чужой беде (“Чужая печаль с ума свела, а по своей потужить некому”, “Старица Софья о всём мире сохнет, никто об ней не вздохнет”). Однако и здесь есть пословица, отвергающая “принцип эгоизма”: “Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу”.

Особняком стоит интерес в денежной сфере. Показательно, что при этом близкие отношения между людьми не принимаются в расчёт, поведенческие нормы как бы перестают действовать (“Брат братом, сват сватом, а денежки не сосватаны”).

Приоритет собственных интересов, утверждаемый в приведённых пословицах, совершенно естественно предполагает неодобрение действий человека, который отклоняется от декларируемого принципа, поступает не в “соответствии”: “Чужу пашню пашет, а своя в залежи”, “Чужую крышу кроет, а своя течёт (а своя каплет, а под своею капель)”, “Чужое сено катает, свой гноит”, “Тетушка Мосевна до всего села милосерда, а дома не евши сидят”.

6. Всякое чужое ненадёжно, непрочное, недолговечно, не идет на пользу, не приносит удовлетворения, поэтому надо иметь своё и рассчитывать на себя.

“На чужом жиру (то есть добре) недалеко уедешь”, “Чужим богат не будешь”, “Чужим хлебом веку не прожить”, “Чужим и большим (то есть многим) не разжиться”, “Чужое не споро, пропадёт скоро; а своё держи, так как хопь береби”, “Чужой обед сладок, да не спор”, “Сытен чужой обед, а всё только на одни сутки”, “На чужой лошади

ке не наездишься”, “В чужом платье не накрасоваться”, “Чужая одежда не надежа, чужой муж не кормилец”. А из этого соответственно следует: “От чужого обеда не стыдно голодному (несевши) вставать”, “От чужих ворот не стыдно ни с чем отойти”, “Лучше но миру собирать, чем чужое собирать”. Даже такая безрадостная альтернатива, как нищенство, с точки зрения автора пословицы, предпочтительнее, чем “собираение чужого”.

Таким же бесполезным, как чужие материальные блага, которые не могут насытить, согреть, сделать богатым, благополучным и т.д., представлен в пословицах заёмный ум (“Чужим хлебом да чужим умом недолго проживёшь”, “Чужим умом до порога жить”, “Чужой ум не попутчик”, “Чужим умом в люди не выйти”). Ум, кстати, единственная нематериальная субстанция, фигурирующая в этой группе пословиц.

Ненадёжность, непрочность, а также несправедность чужого приводит к пониманию, что лучше иметь своё (пусть и малое), чем чужое (хотя и большое): “Чужое непрочно и большое, а своё и малое, да правое”, “Хоть грош, да свой”, “Лучше своя свечка, чем чужая печка”. Нередко разного рода чужое имущество обобщается ёмким русским словом *добро* (“Чужое **добро** впрок нейдёт”, “Чужим **добром** не построишь дом”, “Чужим **добром** не разбогатеешь / не разживёшься”). Это “чужое добро” получает и более узкое, конкретное обозначение: деньги (“Чужие **деньги** в кармане не живут”, “Чужие **деньги** свои поедают”). Часто в деминутивной форме: “Чужие **денежки** ночью хлеб едят”, “Чужая **денежка** карман жжёт”. Встречаются и другие обозначения денежных единиц, преимущественно мелких: “Домашняя **копейка** лучше заезжего (захожего) **рубля**”, “Не ждёт Мартын чужих **полтин**; стоит Мартын за свой **алтын**”, “Хоть **грош**, да свой”.

При необходимости иметь всё своё следует опираться на собственную волю, независимость, возможность поступать так и не иначе (“Всяк в своём добре волен”, “Чьё поле, того и воля”, “В своих углах чужой не указчик”, “На своей кляче куда хочу, туда и скачу”, “Моё добро, хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю”, “Свой хлеб хоть ночью ешь”). Иногда в пословицах говорится о праве на совершенно неблагоприятное деяние, главное, подчеркнуть абсолютность этого права, утвердить неограниченность собственной воли: “Своё добро хоть в печь, хоть в коробейку”. Возможность поступать исключительно по своему усмотрению, проявить свою волю без каких-либо ограничений в иерархии ценностей стоит очень высоко: “Хоть тяжёлая доля, да всё своя воля”.

По-видимому, особую ценность для человека имеет собственный дом (“Горе тому, кто живет в чужом дому”, “Всякая птишка хлопочет, своего угла хочет”). У себя в доме каждый волен делать, что хочет (“В

своём дому чужой не указчик”, “Ни купец, ни дворянин, а своему дому господин”, “В чужом доме воля не своя”). Конечно, бывают и неприятности: “В своём доме, хоть болячкой сяду, нет дела никому”. В ряде случаев вместо слова *дом* может выступать метонимическое *угол* (*углы*): “В своих углах не староста указчик”.

Пословицы подчёркивают независимость от лиц, имеющих более высокий материальный или социальный статус: “Не кланяюсь **богачу**, свои денежки плачу (свою рожь молочу)”, “Начхаю **богачу**, коли свой сноп (свою рожь) молочу”.

В желании иметь своё и не рассчитывать на чужое человек опирается на мысль о дискомфорте, который так или иначе связан с использованием чужого (“Чужая шуба не греет”, “Чужой хлеб горек”, “Горек чужой хлеб, коль своего нет”, “Чужой мёд и тот горек”, “Чужой хлеб рот дерёт”, “Чужой кус в рот нейдёт”, “Чужим кусом подавишься”). Причём дискомфортность ситуации зачастую представлена в пословицах метафористично (“Чужой хлеб в горле петухом поёт”, “Чужая денежка карман жжёт”, “Чужое добро берёт за ребро”). А иногда звучит прямо-таки грозное предупреждение: “Чужое добро ребром выпрет”. Пословицы предостерегают от попыток присвоить чужое, это обречено на провал, а главное, чревато потерей своего: “За чужим погонишься, своё потеряешь”. Особенное неодобрение вызывает человек, который пытается присвоить чужое, не сумев сберечь своё. Вероятно, мот и расточитель в общественном сознании заслуживал большего порицания, чем тот, кто зарится на чужое, не имея своего: “Своё добро теряет, а чужого желает”.

7. Человек предпочитает пользоваться чужим (добром), расходовать чужое, часто имея и сберегая при этом своё.

“Любил дед чужой обед”, “Из чужого кармана легко платить”, “Из чужой кошны не жаль и подать (милостыню)”, “Чужим обедом потчевать гостей не убыточно”. В пословицах говорится о тех, кто не просто любит пользоваться чужим, но делает это небрежно (как, вероятно, не поступал бы со своим), становится щедрым, когда угощает чужим, раздаёт чужое: “Чужим всяк тороват”, “Чужим добром – подноси ведром”, “Чужой мешок хоть выворотить да отрясти”. Особая несдержанность подмечена в употреблении чужих напитков: “На чужие деньги запоем пьём”, “Чужое вино – и пил бы, и лил бы, и искупаться попросил бы”. Исторический интерес представляет пословица “С мужем вприглядку (пьём чай), сама вприкуску, а в гостях внакладку”, рассказывающая о том, что сахар приходилось экономить, а самым бережным способом его расходования при чаепитии был весьма оригинальный – *вприглядку*, самым же расточительным – *внакладку*. (Эта пословица иллюстрирует также пример женского лукавства в семейных отношениях.)

Однако существуют пословицы, которые обещают вознаграждение свыше тому, кто будет “жалеть” чужое: “Пожалеешь чужое, Бог даст своё”, “Пожалей чужое, Бог своё пошлёт”.

Даже краткий анализ бытования русских пословиц и поговорок позволяет узнать много нового о национальном характере и образе мыслей народа. Для серьёзных научных обобщений в этой области, как уже отмечалось, необходимы совместные усилия учёных (и не только гуманитарного направления), ведь мир пословиц – это жизнь народа во всей полноте, ведь общественные стереотипы и представления формировались под воздействием многих факторов.





Диаконы и диакониссы*

А. Н. ШУСТОВ

В последние годы в России усилилась тяга людей к православию. Отсюда понятен и повышенный интерес в обществе к забытой церковно-славянской лексике. Сегодня на страницах прессы нередко можно встретить публикации, посвященные, в частности, воссозданию чина диаконисс. Кто же такие *диакониссы*, откуда пришло и что значит это слово?

В древнегреческом языке существовала группа слов с общей основой *diakon-*. Первую половину его (*dia-*) можно рассматривать как предлог: “через, между, сквозь...” (ср. *диа-гноз*, *диа-лог*, *диа-лектика* и т.п.). Сложнее со второй половиной (*-kon*). В греческом слова этого корня были как-то связаны с такими понятиями, как “песок, пыль, прах, пепел, зола”. Филологи пытались найти связь и с другими близкими по звучанию словами со значениями: “спешить, торопиться, перемещаться...” В целом же основа *diakon-* в древнегреческом языке стала играть роль корня с “неожиданным” значением: “служить, оказывать услуги, помогать”. У лексикографов нет единого мнения, почему именно такой (не связанный ни с “песком”, ни со “спешкой”) смысл приобрело это слово, и они вынуждены признать, что этимология этого греческого корня неясна.

Существительное *diakonos* – суффиксальное образование от глагола *diakoneō* (служить, состоять на службе). Оно является синонимом таких слов, как *amfipolos* (прислужник), *ypēretēs*, *ypurgos* (служитель, слуга), *therapon* (помощник) и др. Все они обозначают того, кто, в от-

* При работе над статьей автором использованы материалы книги С.В. Троицкого “Диакониссы в Православной Церкви”. СПб., 1912.

личие от раба, оказывает услуги добровольно. Достаточно большая группа таких однокоренных “служебных” (от *diakon-*) слов была освоена греческим языком за четыре–пять веков до новой эры. Для нашего дальнейшего изложения интерес представляет лишь одно из них – *diakonos* (среднегреческ. просторечно-уменьшит. формы: *diakon*, *diakos*).

Одновременно с возникновением и распространением христианства (I–II вв.) это существительное было использовано в качестве специального термина для названия помощников священников. Именно в таком значении (“прислужник, помощник”) слово вошло в состав новозаветных книг на греческом языке койне, где *диакон* – синоним *слуги* (широкую фиксацию однокоренных слов в позднегреческую эпоху см.: Sophocles E.A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. New York. V. 1, 6/r).

При переводе греческих книг на латинский (III–IV вв.) и старославянский (IX–X вв.) языки слово *diakonos* иногда тоже переводилось. В послании апостола Павла коринфянам, например, читаем: “...представляюще себе якоже Божия слуги” (Второе послание к Коринфянам. 6, 4; латинск. *Dei ministros*). Из латинского нам понятно значение слова *министр* (слуга феодала, короля, государства, затем – просто служащий высокого ранга), а также социологический термин *система министериалитета* – такая, при которой все подданные, независимо от социального статуса, считались слугами, холопами государя.

Вместе с тем существительное *diakon* и без перевода проникло в латинский (*diaconus*), а спустя несколько веков – во многие церковные тексты на старославянском языке: “...с епископы и диаконы” (Послание к Филиппийцам. 1, 1; лат. – *cum episcopis et diaconibus*). Большая группа старославянских слов с корнем *слуг(ж)-* соотносилась с греческими терминами-синонимами, в числе которых неизменно был и *diakon(os)* (см. *Slovník jazyka staroslovenského*. Т. 37).

В древнерусском языке слово *диакон* стало известно фактически одновременно с официальным крещением Руси и знакомством наших предков с церковной литературой, т.е. на рубеже X–XI веков. Пришло оно на Русь скорее всего “окольным путем” (Линдеман И. Греческие слова в русском языке. М., 1896) – из старославянского или из староболгарского языков. Прямое заимствование из греческого в тот период – маловероятно.

Напомним: в древнерусском языке *дьяк(он)* впервые фиксируется в “Изборнике” Святослава (1073 г.), основой которого послужил болгарский перевод (кон. IX – нач. X в.) с греческого, выполненный дьяком Иоанном. По мнению М.Д. Приселкова (нач. XX в.), Киевская Русь приняла христианство не непосредственно из Византии, а из Болгарии, имевшей с 870 года самостоятельную (автокефальную) Церковь. И со-

временный историк считает, что еще до официального крещения Руси княгиня Ольга принесла христианство в Киев не из Константинополя, а из Болгарии (Наука и религия. 1991. № 12). Объективно говоря, в деле возникновения на Руси отечественной литературы древнеболгарская литература, носившая, в основном, культовый характер, сыграла благотворную роль посредницы.

Существительное *диако́н* легко и быстро прижилось на русской почве, со временем оно приобрело “фонетического двойника” (*диако́н* → *дьяко́н*) и дало несколько производных. Основное же значение слова – “слуга, прислужник” – на протяжении тысячелетия остается неизменным. Необходимо отметить, однако, что сыздавна “служащие” на Руси существовали как в светской, так и в церковной сферах.

В Церкви (с XI в.) *диако́н* (дьяк) представляет собой посвященного в сан священнослужителя низшего (третьего) ранга; в отличие от священника он не имеет права совершать таинства. В русской церковной практике диаконы выступали (и выступают), в основном, лишь как помощники священников при проведении ими служб. Со временем в церковной иерархии чин диакона приобрел некоторые градации. При этом следует иметь в виду, что эти названия являются “отличиями чести, но не власти” (В. Михайловский), т.е. они не “начальники”, а такие же диаконы, как и все остальные: *архидиако́н* (первый, главный диако́н в крупном монастыре), *протодиако́н* (первый диако́н главного храма в епархии), *иеродиако́н* (диако́н-монах), *иподиако́н* (помощник диакона). Позднее “звание” было церковно-официальным; в широком языковом обиходе древней Руси его чаще называли *дьячком* (зафиксирован под 1169 г.), в церковном языке это слово не употребляется. Этот “младший дьяко́н” является церковным причетником, т.е. церковно- (а не священно-) служителем. В храме он может быть лишь псаломщиком, чтецом, певчим, пономарем, сторожем...

В русской мирской (светской) службе диаконы (дьяки) известны с начала XIV века. По своим должностям они являлись своеобразными “преемниками” княжеских слуг-писцов и казначеев и составляли вполне определенный разряд княжеской (а позже царской) администрации.

Дьяк – это особая канцелярская должность, на которую назначались грамотные, но не родовитые люди. Дьяческая служба имела широкий диапазон: от письмоводителя и секретаря до введенного позже – столоначальника и даже главы Приказа. Со временем, с развитием системы государственного управления, дьяки получили соответствующие “ведомственные” определения: *думный*, *дворцовый*, *разрядный*, *митрополичий*, *вечный* (от *вече*), *приказный*, *земский*. При Иване III (с 1479 г.) были еще государевы *певчие* дьяки, т.е. композиторы, дирижеры и т.п. Самым низким канцелярским чином являлось “звание” *подьячего* (известно с середины XV в.). В этом слове как бы “просвечивает” предлог

под- (ср. *подпоручик, подполковник...*). На самом же деле этимологически это – усеченная форма слова *иподьякон* (греч. *уро-* – внизу, снизу, т.е. практически тот же *под-*; иногда встречается старое написание в форме *поддиакон*).

По аналогии с церковными мирские дяки низших рангов также имели прозвание *дьячков*. Но если в церкви это слово носило оттенок уменьшительности, соподчиненности, то в миру – скорее уничижительности, пренебрежительности (ср. *диаконишко*). О светских служилых дяках см.: “Русский язык в школе”. 1998. № 2.

Своей деятельностью канцелярские дяки “подготовили победу бюрократических принципов в управлении” (Брокгауз, Ефрон. Новый энциклопедический словарь. Т. 17). При Петре I их сменили чиновники, чьи названия регламентировались Табелью о рангах (о дяках см. также “Русскую речь”. 1989. № 4).

Мужскому существительному *диако(н)* – *дьяко(н)* соответствовали и слова женского рода, ныне имеющие ограниченную сферу употребления: *диа-(дья-)чиха* и *диа-(дья-)коница* (греч. *diakissa*) – жена или вдова *диа-(дья-)кона* или *дьячка*. В то же время в православной церковной среде издавна было в употреблении еще и слово *диаконисса*.

В первобытной христианской Церкви, в I–II веках, допускалась женская обслуга. Сначала это были добровольные служения частных лиц без определенных обязанностей, которые назывались (в переводе на соврем. русск. язык) *помощницами* (заступницами), *сотрудницами* (споспешницами) и т.п. Эти “христианские жены [женщины] явились достойными сонаследницами Христовой благодати” (Сергиевские листки. Париж, 1931. № 7).

Со временем у них появились конкретные обязанности, исполнять которые разрешалось, в основном, единобрачным вдовам. Позже наряду с истинными вдовами в Церкви появились женщины-церковнослужительницы. Первые два – два с половиной века церковных прислужниц называли по привычке *вдовами* (греч. *hēta*). Их служение в апостольские времена состояло в молитвах и благотворительности, особенно в уходе за больными, а затем – и в попечении о сиротах. В первом послании Тимофею апостол Павел писал: “Вдовиц почитай, истинных вдовиц”. По его мнению, вдова/вдовица должна быть известной “по добрым делам” и “усердна ко всякому доброму делу” (первое послание к Тимофею. 5, 3–10).

Церковные писатели того периода других терминов для названия таких женщин не знали. Правда, Климент Александрийский (нач. III в.) называл вдов из приведенного уже послания Апостола: *diakonon gynaikōn* – служащие женщины.

Впервые вдовы получают официальный статус церковнослужительниц в “Дидаскалии” (памятник сер. III в.). На позднем греческом языке за ними закрепляются названия: *ē gynē diakonos*, *ē diakonos*, т.е.

прислуживающая женщина, лингвистически нечто вроде “дьяконши” (артикуль $\bar{\epsilon}$ в греч. языке означает женск. род). Это уже не просто название, а термин для обозначения вдовы, которой поручено некое церковное служение. То есть к этому времени уже узаконивается скрытое (пока еще без спец. названия) понятие диакониссы. А в “Апостольских постановлениях” (глава, относящаяся к III в.) появляется и новое существительное – $\bar{\epsilon}$ *diakonissa* (в греч. ударение на гласной $\bar{o}$. Современное традиционное ударение для аналогичных сущ. женск. рода [с суффиксами *-uc(c)a*, *-ec(c)a*] – на предпоследнем слоге). Правда, некоторые историки склонны считать, что впервые этот термин именно в таком значении применительно к женщине встречается в постановлениях Никейского собора (325 г.): $\tau\bar{o}\nu$ *diakoniss\bar{o}\nu*.

Уже древние христианские толкователи новозаветных книг разъясняли, что в послании Тимофею в качестве вдов следует иметь в виду тех женщин, которых на Востоке (в Византии) называли *диакониссами*. Итак, несколько упрощенно: II век – это время служения *вдов*, III век – *вдов* и *диаконисс*, с IV века – только *диаконисс* (вдовы остаются просто призреваемыми).

Схематическая последовательность появления нового термина выглядит таким образом: *h\bar{e}ra eydiakon\bar{o}s* → *gyn\bar{e} diakon\bar{o}s* → $\bar{\epsilon}$ *diakon\bar{o}s* → ($\bar{\epsilon}$) *diakonissa*.

Диакониссы у восточных христиан (в первую очередь у византийцев) назывались не только $\bar{\epsilon}$ *diakonissa*, но и $\bar{\epsilon}$ *diakon\bar{o}s*. До Никейского собора последнее название господствовало безраздельно, а после него часто встречалось наряду с первым. Вполне понятно, что в течение последующих двух-трех веков различные формы служения женщин в храмах могли “перекрываться”, и их наименования употреблялись в языке параллельно.

Обязанности диаконисс в храме были во многом схожи с инодьяческими. Они избирались для исполнения отдельных обрядов по отношению к женщинам-прихожанкам (“для благоприличия”): обучали взрослых женщин, готовящихся к крещению, основам веры и помогали епископам при совершении обряда крещения; поддерживали порядок в женской части храма во время богослужений (в Византии женщины молились отдельно от мужчин в особом помещении); обмывали больных женщин; занимались благотворительностью (Церковно-общественный вестник. 1997. № 21). В Византии существовали специальные *диаконии* – церковно-благотворительные учреждения под надзором диаконов, в ведении которых размещались приюты и богадельни, обслуживаемые, кроме духовенства, диакониссами.

В общем же, диакониссы, подобно иподиаконам, несли церковное, а не священническое служение; они допускались к причастию после диаконов, доступ в алтарь им не возбранялся. По возрасту диакониссами назначались женщины, как правило, не моложе 40 лет. Позже мини-

мальный возрастной ценз их был поднят до 60 лет (таких женщин называли еще *старницами*).

Поскольку диакониссы появились в Византии раньше иподиаконов, их посвящение производилось по чину, близкому к рукоположению диаконов. Такой чин посвящения и близость названий (особенно для иностранцев-негреков) привели к тому, что “некритическому мышлению” они представлялись не служащими Церкви женщинами, а именно “женщинами-диаконами” (т.е. священнослужительницами). На самом же деле диакониссы были ниже трех ступеней церковной иерархии и являлись “женщинами-иподиаконами”. Если же они и назывались не *ai upodiakonoi* или *ai upodiakonissa*, а *ai diakonoi* и *diakonissai* (*ai* – артикль женск. рода мн. числа), то только потому, что первое название предполагало бы двухступенность церковнослужения, которой в Церкви не существовало.

Первоначальные (ранние) церковные тексты, естественно, “не знают” слова *диаконисса*. Латинский (с V в.) и старославянский переводы греческого слова *ἡ diakonos* передавали его значение буквально: *ministerium* – служительница. Форма женского рода от существительного *diakon* была для переводчиков не только непривычной, но и канонически неприемлемой. В новозаветном апостольском Послании “К римлянам” на церковнославянском языке говорится: “Вручаю же вам Фиву, сестру нашу, сущу служительницу церкви” (лат. *ministerium Ecclesiae*).

Позже, с освоением *диакониссы* греческим языком, этот термин (без перевода) был принят латинским (сперва – *diacona*, затем *diakonissa*; в Римской Церкви женское церковнослужение прекратилось уже в I-й пол. III в.) и старославянским (см. *Slovník jazyka staroslověnského*. Т. 9). Синодальный перевод послания “К римлянам” на русский язык уже называет Фиву *диакониссой*.

К X веку чин диаконисс в Православной (Восточной) Церкви практически перестал существовать. Таким образом, ко времени крещения Руси диакониссы уже стали историей, хотя не исключено, что на самых ранних этапах христианизации и в русской Церкви были отдельные случаи посвящения диаконисс, постольку так же, как и в Византии, на Руси в храмах имелись женские отделения. То, что древнерусский язык знал существительное *диа(я)конисса*, само по себе еще не говорит в пользу их реального существования. Это могла быть просто “экзотическая лексика” для передачи византийских церковных текстов и реалий. Некоторые историки предполагают, что если и существовали древнерусские диакониссы, то позже они “переродились” в *просфоропеков*, *просфорен*, *просвирен*...

О роли забытых вдовиц и диаконисс в России вспомнили в начале XIX века. Проникновенно сказал о них в своем Слове митрополит Филарет (Дроздов). В 1814–18 годах в России был организован институт *сердобольных вдов*, которые стали предшественницами русских

сестер милосердия (подробнее см. Русская речь. 1996. № 3). Обращаясь к “восприимлющим обет сердобольных вдов” (в 1821 г.), митрополит сказал: в старину “учрежден был в Церкви некоторый особенный разряд служебных лиц из женского пола, которые назывались *вдовицами* потому, что избираемы были действительно из вдовиц, а иначе *диакониссами*, то есть *служительницами*, потому что должность их была служить Церкви по некоторым ее поручениям. Им поручаемо было, между прочим, попечение о бедных, хождение за больными и особенно во времена гонения на Церковь посещение исповедников веры в темницах. Сим вдовицам, и ради сих полезных служений, оказывать уважение завещавал Апостол...” (Филарет. Слова и речи, М., 1835).

По существу это была одна из первых робких попыток воссоздания диаконисского служения. В 1-й половине XIX века их было еще несколько: в частности, – предложение о. Макария. Но оно не нашло поддержки. Хотя митрополит Филарет и был “согласен”, но, как он писал Макарию, “мысли о диакониссах дошли до начальства и встретили только молчание” ... Предполагалось еще Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия преобразовать в “душеспасительное учреждение” – Общину Православных диаконисс. Именно таким и был, по мнению авторов предложения, институт диаконисс в древней Церкви.

По форме деятельность диаконисс в чем-то сродни социально-христианскому служению монахинь; в свое время монашество способствовало распространению чина диаконисс. Однако объединять их не следует, хотя “в течение веков два похожих, но отнюдь не идентичных начала – монашеское и диаконисское – сплелись в один чин, монашеский” (Гаккель С. Мать Мария. М., 1993). Реальным примером такого “сплетения” может служить личность монахини в миру Марии, известной поэтессы, участницы Сопротивления. Живя в эмиграции во Франции (в 1930-х годах), она целиком посвятила себя служению обездоленным соотечественникам: открывала общественные столовые, дома отдыха и мн. др. Мать Мария “до известной степени следовала по пути диаконисс в рамках [своей] монашеской жизни” (Гаккель. Указ. соч.).

Были и другие попытки привлечения женщин к церковной работе. В этом отношении отдаленно напоминали древних диаконисс *сестры*, объединенные в специальные прицерковные содружества – *сестричества*. Их активная деятельность, в основном, за рубежом, пришлась на период между двумя мировыми войнами (подробнее см. в кн.: Митрополит Евлогий. Путь моей жизни, М., 1994).

Вопрос об официальном введении чина диаконисс в русской православной Церкви “в древнем его значении” вновь ставился в начале XX века. Однако известные исторические события в России надолго ото-

двинули его дальнейшее обсуждение и решение. Ныне эта проблема вновь стала предметом дискуссий, тем более, что Западная Церковь имеет определенные сдвиги в части женского равноправия. В старину на Западе существовали капитулы, состоящие из женщин знатного происхождения – *канонисс* (*canonichessa*). В наши дни во многих странах уже появились официальные священницы (в Дании, например, каждый третий священнослужитель – женщина).

Обсуждение этой проблемы и воскресило сегодня на газетно-журнальных страницах забытое слово *диаконисса*.

Санкт-Петербург



За знакомой строкой



Черный виксатин

Т.Л. БЕРКОВИЧ,
кандидат филологических наук

У Иннокентия Анненского (1855–1909) в описании майской грозы читаем:

...В огне лазури
Закинут за спину один,
Вспоминаньем майской бури
Дымится черный виксатин.

Первая известная нам словарная фиксация слова *виксатин* – в “Полном немецко-русском словаре”, составленном Н.П. Макаровым, А.Н. Энгельгардтом и В.В. Шесерером (СПб., 1877): “*Wachstuch*, *вощанка*; *клеенка*; *виксатин*”. Начиная с “Самого полного общедоступного толкователя и объяснителя 150 000 иностранных слов, вошедших в русский язык” С.Н. Алексеева (М., 1898) и вплоть до “Словаря иностранных слов” под ред. Ф.Н. Петрова (М., 1941), *виксатин* включалось в словари иностранных слов. Это слово фиксирует Д.Н. Ушаков (Толковый словарь русского языка. М., 1935, Т. I) и, со ссылкой на Ушакова, “Словарь современного русского литературного языка” (М., 1951, Т. 2).

Однако происхождение слова объясняется по-разному и весьма приблизительно. Разные авторы считают его заимствованным из француз-

ского (упомянутый уже Алексеев С.Н.), из латинского (Виллиам Т.Я. и Яценко И.П. Новый, полный толковый словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. М., 1913), из немецкого (Огиенко И.И. Словарь общепогребительных иностранных слов. Киев, 1912). “Словарь иностранных слов” под ред. Т.М. Капельзона (М., 1933) возводит его к немецкому *Wichse* “вакса, помада”, Д.Н. Ушаков к немецкому *wichsen* “смазывать”.

Но совершенно очевидная и весьма прозрачная этимология слова *виксатин* обнаруживается, если обратить внимание на его словарный синоним: *вощанка* (см. уже упомянутый словарь Макарова Н.П., а также “Русский товарный словарь” Андреева П.П. СПб., 1889: **Виксатин. Сорт клеенки.** См. *вощанка*). Давно (с XVII в.) известное русское слово *вощанка* “бумага или холст, пропитанные восковым составом”, было синонимично словосочетанию *вощаная бумага* (из которого с помощью суфф. *-к(а)* оно и образовалось) и слову *клеенка* (поскольку первоначально *вощанка* и выполняла функцию клеенки, пока воск, пропитывающий бумагу или ткань, не заменили другими веществами: масляными лаками, олифой и т.д.). Вот так описывается процесс изготовления “бумаги вощаной” Л. Симони в “Словаре практических сведений, необходимых в жизни всякому” (СПб., 1884): “Положив лист бумаги на достаточно разогретую поверхность, проводить по ней куском темного и белого воска, который, плавясь, всасывается бумагой и делает ее прозрачной”.

Точно та же “производственная” мотивация, что и в русском слове *вощанка*, лежит в основе немецкого *Wachstuch* “клеенка”. «Название “*Wachstuch*” (...) происходит оттого, что раньше, когда химическая наука была еще очень неразвита, непромокаемые ткани изготавливались таким способом, что ткань пропитывалась растопленным воском. Современные непромокаемые ткани уже не изготавливаются таким малоэффективным способом и от этого способа производства не осталось ничего, кроме названия ткани, конечно, совершенно неправильного» (*Die Fabrication von Wachstuch. Von Dr. phil. Werner Jacobi. Wien und Leipzig, 1931*).

В “Словаре немецко-русском технических слов по фабричности, мануфактурным и заводским производствам” Ф.А. Рейнбота (СПб., 1885) немецкое *Wachstuch* переводится как “вощенный холст”.

Немецкие *wachsen, wächsen* (от *Wachs* “воск”) и перегласовка того же корня означают “вощить, наващивать”, существительное *Wichsen* “вощение”.

Таким образом, слово *виксатин* образовано на русской почве от немецкого *wichsen* “вощить” (*chs* произносится как *кс*, ср. *вакса* от *Wachs*) плюс финаль *-атин*, по созвучию с такими французскими по происхождению названиями тканей, как *сатин, ратин* (может быть, именно эти модели и побудили филологов Соколова и Кремера, участвовав-

ших в составлении “Словотолкователя” С.Н. Алексеева, считать *виксатин* французским заимствованием). Словообразовательно-семантическая структура слова *виксатин* полностью соответствует, с одной стороны, немецкому *Wachstuch* (*Wachs* – воск, *Tuch* – сукно), с другой – русскому *вощанка* и буквально означает “вощаная ткань”.

Если первая словарная фиксация для *виксатин* – 1877 год, то очевидно, что появилось это слово в языке гораздо раньше. Оно встречается в “Записках Русского технического общества” за 1871 год, где публикуется обсуждение доклада Г. Коростовцева “О способах делать ткани непромокаемыми” (прочитанного им 11 ноября 1870 г.). В ходе обсуждения упоминался “виксатин, приготовляемый г. Львовым [Федор Николаевич Львов – секретарь Русского технического общества. – Т.Б.]. Свойство непромокаемости его зависит от лакового состава, которым он пропитан; виксатин держал воду в течение суток, совершенно не промокая”. Таким образом, *виксатин* здесь обозначает просто непромокаемую ткань, производство которой уже совсем не связано с воском.

Что касается стихотворения И. Анненского, то там речь идет о клеенке, из которой сделан плащ от дождя (“закинут за спину” – капюшон от плаща). Как пишет современник И. Анненского А. Бахтияров в книге “Клееночное производство” (СПб., 1905), “тонкий сорт клеенки – *виксатин*, идет на приготовление непромокаемых плащей и накидок”.

Утром – роман, вечером – крылатое слово

Л.П. ДЯДЕЧКО,

кандидат филологических наук

Похоже, без ильфо-петровских строчек уже не обходится наша речь сегодня: и в быту, в разговорах между собой, и в публичных выступлениях, и на страницах газет и журналов, и в радио- и телеэфире.

Тексты романов "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" как источники крылатых выражений уникальны: в русской литературе не отыскать двух других прозаических произведений, которые бы обогатили лексико-фразеологический фонд языка почти на 80 единиц. В этом отношении их можно сопоставить только с написанной на столетие раньше комедией А. Грибоедова "Горе от ума" (вспомните пушкинское предсказание: "О стихах не говорю – половина должна войти в пословицы", – которое сбылось еще при жизни драматурга). Существует, по-видимому, некая закономерность в том, что каждый век рождает сатирические произведения, образы которых становятся для современников и потомков точкой отсчета на нравственной шкале.

Популярность Остапа Бендера и авторитет его создателей настолько велики, что многие бытовавшие в определенной среде выражения воспринимаются носителями языка как ильфо-петровские. К ним прежде всего принадлежит перифрастическое прозвище главного героя дилогии – *великий комбинатор*. Исследователями было установлено, что это выражение было известно и до выхода в свет "Двенадцати стульев": в 1924 году известный юрист произнес его в своей речи, цитируя одного из обвиняемых.

По воспоминаниям В. Ардова, другое популярное выражение – *Командовать парадом буду я* – Ильф выхватил «из серьезного контекста официальных документов и долгое время веселился, повторяя эту фразу. Затем "командовать парадом буду я" было написано в "Золотом теленке". Смеяться стали читатели. А из официальных бумаг пришлось исключить эти четыре слова, ибо они сделались смешными буквально для всех».

Включенное в словари выражение *Мы в гимназиях не обучались*, по-видимому, было широко распространено в разных вариантах в двадцатые годы как оправдание собственной безграмотности, бескультурья, о чем свидетельствуют слова Шарикова из повести М. Булгакова "Собачье сердце" (1925): "...Мы понимаем-с. Какие уж мы вам [Филиппу Филипповичу Преображенскому] товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Толь-

ко теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...”

Сложившуюся лексикографическую практику возведения подобных выражений к романам И. Ильфа и Е. Петрова нельзя считать ошибочной: так фиксируется реально существующая в сознании носителей языка прочная ассоциативная связь, установившаяся с момента появления произведений.

История написания “Двенадцати стульев” подробно изложена В. Катаевым в мемуарах “Алмазный мой венец”. В то время уже известный писатель, он был увлечен идеей движущегося героя. Основная сюжетная линия задуманного им произведения – поиски бриллиантов, которые были спрятаны в одном из двенадцати стульев, оказавшихся в результате национализации собственности в разных местах, – позволяла дать широкую картину жизни общества в период нэпа. Поделившись своим замыслом с братом и другом, В. Катаев уехал на отдых, оставив для них задание. Возвратившись и прочитав написанное И. Ильфом и Е. Петровым, он понял, что они не нуждаются в наставнике. “Уже через десять минут, – вспоминает В. Катаев, – мне стало ясно, что мои рабы [так в шутку он называл своих помощников, рассчитывая на верховенствующую роль в создании романа] выполнили все бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мной портрет Воробьянинова, но, кроме того, ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж – Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным”. И далее о главном герое романа: “Он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое”.

О работе над романом “Золотой теленок” сами авторы рассказали в предисловии.

Наряду с Остапом Бендером и Эллочкой-людоедкой, из всего “великого и могучего” отобравшей тридцать слов и вполне обходившейся ими, в разряд нарицательных перешло имя другого комбинатора – *подпольного миллионера Александра Ивановича Корейко** (* – знаком “астериск” и в дальнейшем обозначены выражения, не зафиксированные словарями крылатых слов), широко распространившееся в последнее десятилетие, что объясняется изменениями в социально-экономической сфере, сходными с теми, которые наблюдались при нэпе. Корейко появился на сцене в период массового кооперативного движения: “У нас столько восторгов по поводу всякого кооператива, словно договорились не замечать, что одними из первых кинулись туда подпольные корейки, матерые спекулянты” (Правда. 1987. 13 окт.). Позже «Корейко вышел из подполья! Те, кто раньше стеснялся своих незаконных миллионов, начали открыто вкладывать их в “мерседесы”» (Лит. газета. 1988. 20 июля). А сейчас Корейки расползлись по белому свету, о чем свидетельствует статья “Гастроли американского Корейко

на севере", рассказывающая о мошеннике из США, промышляющем в Канаде (Киев. ведомости. 1997. 6 фев.).

В нарицательное превратилось название "шахматной столицы мира" *Васюки** (или *Нью-Васюки**, или *Нью-Москва**), в современных контекстах используемое для обозначения города, жители которого претендуют на лидерство в культуре, политике и т.п., не имея на то каких-либо оснований. Появилось даже производное слово *васюкизм*. Васюкизм как миф о приобщенности народа к ценностям мировой и отечественной культуры разоблачается в статье "Москва, Свердловск или Васюки?" (Лит. газета. 1989. 27 дек.).

Редкое явление в лексико-фразеологической системе русского языка – наименование предмета материальной культуры с помощью крылатого слова – обнаруживается среди ильфо-петровских выражений: это придуманное Остапом Бендером название автомобиля Козлевича *Антилопа-Гну**.

Ю. Долматовский в книге "Знакомые и незнакомые: Рассказы об автомобилях" пытался воссоздать внешний облик машины по тем замечаниям, которые имеются в романе. Он отмечал: «Словом, нет сомнения, что "Антилопа" – это автомобиль выпуска примерно 1902–1905 годов, с передним расположением двигателя, о чем свидетельствуют и радиатор, и кузов "тонно" (который невозможно совместить с задним расположением двигателя), и многое другое [слово *тонно* по-французски "бочка"]».

Но вот насчет марки "Лорен-Дитрих" возникают серьезные сомнения. Козлевич, приколов к радиатору медную бляшку с этой маркой, явно стремился убавить возраст своего автомобиля. Ибо французская фирма "Лорен-Дитрих" начала выпускать автомобили только в 1910 году». По мнению Ю. Долматовского, это был итальянский "Фиат" выпуска 1905 года. При экранизации романа "Золотой теленок" выяснилось, что воссоздание "Антилопы" слишком дорого, поэтому снимали более или менее подходящий автомобиль двадцатых годов, настоящий же выглядел более забавным.

В речи название "*Антилопа-Гну*" выступает как синоним антикварного автомобиля (ср.: «"Антилопа-гну" в мини. Раз в год истые поклонники игрушечного автоантиквариата собираются в Сотби на аукцион». Комс. правда. 1991. 15 июня).

Кроме имен собственных, в обиход вошли ильфо-петровские крылатые выражения, представляющие собой реплики персонажей или цитаты из авторских комментариев.

Сохраняя общую отрицательную направленность, они передают тончайшие нюансы – от легкой иронии – *Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник*; иногда с примесью горечи – *Мы чужие на этом празднике жизни*; до едкого сарказма, презрения – *жертва аборта*.

С их помощью можно охарактеризовать человека в целом: *Вы жалкая, ничтожная личность!*, внешность – *знойная женщина – мечта поэта*; умственные способности – *гигант мысли*; политические пристрастия – *пикейные жилеты*; *Политическое кредо – всегда** (о взглядах общественных деятелей, готовых бездумно следовать любым указаниям; ср.: “Политическое кредо – всегда! Как пан Гетьман поддерживал ГКЧП”. Комс. знамя. 1992. 20 марта), отношение к работе – *кипучий лентяй*.

Полюбились читателям пригодные в той или иной бытовой ситуации советы, щедро раздаваемые персонажами диалогии: *Не делайте из еды культа, Не учите меня жить* (в разговорной речи обычно используется с продолжением *Не учите меня жить, лучше помогите материально*), *Грузите апельсины бочками** (обычно в трансформированном виде – о погрузке бочками или – переносно – о большом количестве чего-либо: “грузите воду бочками” (Рос. газета. 1995. 8 сент.); *Дышите глубже: вы взволнованы!** (ср.: «В Пекине отметили 50-летие цитаты великого кормчего Мао. Как тут не вспомнить высказывание знаменитого Остапа Бендера: “Дышите глубже: вы взволнованы”». Новости. I канал телевидения. 1992); *Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству* – призыв покончить с плохими дорогами или с нерадивостью, небрежностью в делах, обычно в трансформированной форме; например: “Ударим обжорством по кислотно-щелочному!” (Комс. правда в Украине. 1997. 9 янв.); “Ударим лицензией по пиратству” (Теленеделя. 1997. 30 янв. Статья о видеопиратстве). Расхожей стала шутка Элочки-людоедки *У вас вся спина белая*, наиболее актуальная первого апреля.

Фразеологизмы из этих двух романов широко распространены в разных функциональных стилях. Приведем несколько примеров из художественной, публицистической и разговорной речи: “Для полного счастья сестрам-школьницам хватило 1400 долларов. Ровно на месяц” (Киев. ведомости. 1993. 14 мая); “Дай миллион, дай миллион. – Если вы хотите получить миллион, играйте в “Спортлото”» (Телереклама. “Спортлото”. 1993); “Та историческая битва велась за святая святых – за *ключ от сейфа, где деньги лежат*” (Эрнст Неизвестный. Веселые поросята; в данном случае в выражении изменен компонент); “Раз в стране бродят дензнаки, значит, найдется 444 способа их отъема, как говаривал Остап Бендер. Об этом из способов, связанных с игрой, мы расскажем” (Тихий час. I канал ТВ. 1993. 6 нояб.); “Сколько стоит фотография? – Триста. – А двести пятьдесят? – Это же искусство. *Торг здесь неуместен**” (Из разговора. Крым. 1995); “Давайте сначала их найдем, а когда я буду уверен, что с ними все в порядке, я дам вам любые объяснения. – А нельзя по-другому? *Вечером стулья, а деньги утром**” – поинтересовался Рудин, непринужденно демонстрируя мне знание классики советского кинематографа. – Можно. Но деньги вперед.

– Понял” (Маринина. Черный список); “Эту тайну должен знать каждый министр. – Утром кресло – вечером деньги, вечером деньги – утром кресло” (КВН. ОРТ. 1997. 1 июня).

Наиболее частотны в публицистической речи выражения *Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения** и *Запад* (заграница) *нам поможет** (около 60 примеров фразеупотреблений).

Первое из них служит для оправдания больших расходов на приобретение или создание крайне необходимых вещей (обычно в трансформированном виде, например: “машина не роскошь, а средство для излучения” (Комс. правда. 1992. 18 окт.); “паром – не роскошь, а средство экономии топлива” (Киев. ведомости. 1993. 27 окт.); “трактор, конечно, не роскошь, но и не средство передвижения для пьяных молодчиков” (там же). Слова в предложении могут переставляться, что создает дополнительный комический эффект: “Автомобиль не роскошь, а средство ее передвижения” (Час пик. 1992. № 6). Сама формула часто сокращается до трех компонентов с заменой первого. Так, из газетных статей мы узнаем, что у нас не только автомобиль – не роскошь, но и квартира, телефон, колбаса. Ряд можно продолжить.

Вторая фраза, функционирование которой в периодике стимулировано сложившейся экономической ситуацией, ориентацией на Запад, используется для выражения надежды на то, что кто-либо со стороны окажет помощь. Надежда может сменяться уверенностью: “Заграница нам поможет!” (Известия. 1991. 21 марта) или, наоборот, сомнением: “Поможет ли нам заграница?” (Известия. 1991. 17 июня).

Актуализация в речи крылатых выражений, восходящих к текстам романов “Двенадцать стульев” и “Золотой теленок”, обусловлена стремлением вовлечь собеседника в языковую игру. Шутка или ирония помогает посмотреть на себя со стороны, подняться над собственными или чужими недостатками.

Ильфо-петровские выражения стали частью смеховой культуры народа, они демонстрируют его оптимизм и большую жизнестойкость.

Украина,
Киев